

Сергей Миллер



TEST 1847
FAILURE

Идентификатор

Сергей Миллер

Идентификатор

«Автор»

2026

Миллер С.

Идентификатор / С. Миллер — «Автор», 2026

Мир после Безымянных Годов. Идентичность — единственная валюта. Глиф — невидимый отпечаток сознания — определяет, кто ты. Без подтверждения Идентификатора ты не существуешь: не можешь пересечь границу, заключить сделку, доказать, что ты — это ты. Миллиарды людей каждый день склоняют головы перед лысыми детьми в белых одеждах, чьё прикосновение решает всё. Корпус Идентификаторов контролирует мир — не армиями, не деньгами. Прикосновением. Дэвин Карра — контрабандист, инженер, безглифный. Для мира он не существует. Пять лет он строит прибор, способный считывать глифы без Идентификатора.

© Миллер С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. СЕРАЯ ЗОНА	5
Глава 2. «Идентификаторы»	14
Глава 3. «Подменка»	27
Глава 4. «Чистый город»	33
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Идентификатор

Глава1. СЕРАЯ ЗОНА

С высоты птичьего полёта — если бы птицы ещё решались летать над центром — город походил на разбитую тарелку, склеенную рукой безумца. Одни её осколки сияли первозданной белизной, другие же подёрнулись такой плотной коростой грязи и лет, что в них уже невозможно было угадать ни камень, ни кирпич. Чистые районы пронзали горизонт стеклянными иглами, и утренний свет, холодный и острый, дробился об их грани, будто в землю вонзили мириады зеркальных осколков. Улицы там были вылизаны до хирургического блеска; деревья подстрижены с точностью, оскорбительной для природы; люди — одеты, причёсаны, идентифицированы.

Каждый знал, кто он. Каждому это подтвердили.

Прикосновением.

А внизу, за невидимой, но несокрушимой чертой, расплзалась Серая зона.

Она никогда не была серой — это первое, что обрушивалось на любого новичка, рискнувшего спуститься вниз. Она была кроваво-рыжей от ржавчины, точившей металл, словно кислота; иссиня-чёрной от копоти, въевшейся в поры стен; болотно-зелёной от мха, прогрызавшего бетон с упорством живого существа. Она была бурой от застарелой грязи, которую никто не убирал, потому что здесь некому было приказать и некому было подчиняться.

«Серой» её окрестили те, кто смотрел с высоты. А с высоты всё, что не сияет холодным, ровным светом, неотличимо от тени. Этот хаос цветов рождал и хаос законов. Они менялись от квартала к кварталу, от этажа к этажу, а порой — от одной захлопнувшейся двери до другой. Здесь не было Идентификаторов, не было гудящих силовых полей КПП, не было бритоголовых людей в стерильно-белом, чей ледяной палец прикасался к твоему лбу и выносил вердикт: кто ты есть. Здесь ты был тем, кем отваживался назваться. Или тем, кем тебя соглашались считать соседи. Или никем.

Он стоял у примуса и на идеально ровной самодельной сковородке жарил единственное яйцо, которое ему удалось выменять на рынке. Чаечье — мелкое, с зеленоватым, каким-то недоверчивым желтком, — оно пахло. Пахло тем, чего Дэвин Карра не ощущал уже почти пятнадцать лет, — детством. Разумом он этого не помнил, но тело хранило все запахи.

Жир маслянисто зашипел, подбрасывая стаю горячих микроскопических капель к низкому выгнутому потолку. Когда-то давно его бледно-голубая эмаль отражала безликие лица пассажиров, теперь же с неё пластами сходила краска, обнажая ржавые оспины металла. Сквозь облезшие слои упрямо проступали остатки схематичного орнамента — почти стёршийся призрачный ушедшей эпохи. Полтора века назад это был потолок вагона метро. Теперь вагон покоился на боку, наполовину вросший в землю на задворках того, что некогда называлось промышленным парком.

Колёса давно срезали на металл; рельсы вокруг торчали из глинистой почвы, точно рёбра исполинского доисторического скелета, а сам вагон казался его последним, чудом уцелевшим позвонком. Но корпус держался. Сталь середины двадцатого века была выкована с той честностью, которая не предполагает конца света. Она не знала, что мир однажды рухнет, и вся её прочность станет не спасением, а молчаливой насмешкой.

Когда белок коснулся раскалённого металла, звук вдребезги разбил глухоту вагона. Дэвин не отрывал взгляда от огня — не потому, что боялся упустить момент, а потому, что в этом маленьком, трепещущем круге было что-то неприлично живое. Барыга на рынке отдал ему это сокровище за две ампулы «Тишины» — дефицитного антибиотика широкого спектра,

поддельного в семидесяти процентах случаев. Дэвин отдал «Тишину» за этот шкварчащий звук жизни. Яйцо стоило всего.

Он никогда не признался бы вслух, зачем пошёл на такой обмен. Яичница — это ведь больше не еда в том механическом смысле, к которому их приучил новый мир. Это немислимая роскошь времени. Это когда ты сознательно жжёшь драгоценное топливо не ради голых калорий. Ради вкуса. Ради паузы. Ради того, чтобы окончательно не превратиться в деталь этого мира.

Желток, ещё жидкий, мягко дрогнул. Дэвин отломил кусок чёрствого хлеба, жёсткого, как сапожная подмётка, и накрыл яйцо сверху — чтобы дошло в собственном тепле. Десять секунд. Затем он бережно снял сковородку с огня и огляделся.

Он пересёк свой мир в два с половиной шага. Такова была вся его ширина. Длина — восемь выверенных шагов от двери до дальней стены. Высота — на ладонь больше его собственного роста, если выпрямиться до хруста в шее. Его миром был вагон ушедшей эпохи, чьи серийные номера были сошлифованы так давно, что даже металл забыл свои цифры. Его личные двадцать два квадратных метра.

Он бережно поставил сковородку на верстак, в предвкушении закатал рукава и взялся за алюминиевую ложку.

В свои двадцать девять лет Дэвин носил на теле не просто кожу, а подробную, рельефную карту прожитой жизни, и каждый шрам на ней был главой его безмолвной биографии. Вот старый ожог на левом предплечье — гляцевый, похожий на клеймо, — память о коротком замыкании, когда он впервые вскрывал нутро промышленного конвертера. Вот три тонких белёсых рубца, змеящихся по рёбрам, — отметины ножа, оставленные человеком, который позарился на его инструменты и взамен получил раздробленное колено. А вот тёмное пятно на шее — кислотная клякса от лопнувшей батареи.

Его лицо принадлежало к тем, что растворяются в памяти через минуту после встречи. Тёмные волосы коротко острижены самодельным триммером. Глубоко посаженные серо-зелёные глаза почти никогда не смотрели прямо: они скользили чуть мимо, будто истинная реальность всегда находилась где-то за плечом собеседника. Тяжёлая, упрямо скроенная челюсть. Тонкие губы. Он принадлежал к породе людей, говорящих мало и с видимой неохотой, но его всегда слушали. Слова Дэвина были выверенными, как стальные гайки — и каждую он вкручивал точно в цель.

Рабочий стол не просто занимал треть вагона — он был этой третью. Алтарь, операционная, поле боя. Длинная, щербатая плита из прессованной фанеры, усиленная стальным листом, покоилась на козлах из ржавой арматуры, образуя ландшафт из того, что посторонний с презрением назвал бы мусором. Но Дэвин видел живой, дышащий язык, где каждая деталь была словом, а схема — предложением. Вот вскрытое тело коммуникатора — старая гражданская модель. Диагноз: процессор ещё жив, экран мёртв, в иссохшей батарее теплится остаток заряда. Рядом, словно анатомический препарат, лежат три платы, вырванные с мясом из нутра медицинского сканера. Дальше — терпеливые мотки медной проволоки, хрупкие пучки оптоволокна, россыпи конденсаторов, похожие на жуков, горстки резисторов в тусклых пакетиках. А над всем этим возвышался его арсенал: тяжёлые паяльники с обугленными жалами, мультиметр и осциллограф, чья зелёная коробка венчала коллекцию.

Весь этот кажущийся беспорядок подчинялся строгой экосистеме. Он мог найти нужную деталь в абсолютной темноте, на ощупь, за четыре секунды.

Проверял.

Втиснутая между строгим корпусом осциллографа и телом паяльной станции стояла старая жестяная банка. С её выцветшей этикетки, сквозь царапины и въевшуюся грязь, неуместно скалился рекламный мужчина с чашкой в руке. Его белозубая улыбка не тускнела вот уже лет сорок, пережив и страну, и бренд, и, вероятно, самого счастливчика с картинки. Внутри

банка хранила скромное сокровище: шесть остро заточенных карандашей, два фломастера и отвёртку.

Банка была единственным островком иррациональности в его океане утилитарности. Единственным предметом, не имевшим практического значения. Дэвин держал её из-за ускользающего воспоминания: плотного, горьковатого запаха настоящего кофе, который когда-то, в другой жизни, варила мать. А может, он уже ничего и не помнил. Может, лишь отчаянно цеплялся за саму идею этой памяти. В Серой зоне, его вечной реальности, кофе не было. Здесь был лишь пыльный цикорий да землистый порошок из жареных желудей, который старуха на рынке называла «бодростью бедняка».

«А сейчас бы не помешал даже цикорий», — промелькнуло в голове, когда Дэвин дожёвывал этот немислимо эстетичный для Серой зоны завтрак.

Настоящий кофе был «там». За силовыми полями КПП. Там, где люди знали, кто они есть, и пили кофе, не задумываясь, какая это чудовищная привилегия — знать, кто ты.

На стене напротив койки, прямо на уровне глаз, висела фотография. Она крепилась двумя полосками потемневшего скотча, и один её угол чуть отставал от металла, подрагивая от сквозняков. Дэвин смотрел на неё каждое утро. Каждое, без исключения. Он проводил ровно двенадцать секунд — отмеряя время ударами собственного пульса — вглядываясь в это маленькое, истерзанное временем изображение. Только потом он позволял себе отвернуться и начать день. Это был ритуал, который повторялся так долго, что затвердел, как грязь, слой за слоем спрессованная годами в камень. Он не мог бы объяснить, зачем это делает. Он не мог бы и перестать.

Фотография была маленькой, не больше мужской ладони. Напечатанная на настоящей плотной фотобумаге, когда-то она блестела глянцем, а теперь стала матовой и покрылась сетью мелких трещин, похожих на пересохшее русло реки, уже забывшей воду.

На снимке были запечатлены женщина и двое детей.

Мальчик лет семи — худой, угловатый, с насупленным лицом, чьи маленькие кулаки сжимали воздух так яростно, словно он собирался не позировать, а драться. В нём безошибочно угадывался будущий Дэвин.

Девочка лет четырёх — его полная противоположность. Светловолосая, заливающаяся беззвучным, навеки застывшим смехом, она стояла с раскинутыми в стороны руками, словно хотела обнять весь мир. В её растопыренных пальцах было столько слепой доверчивости к жизни, что от этого перехватывало горло.

Между ними стояла женщина.

Её длинные, тонкие руки лежали на плечах детей. Левая — на плече насупленного мальчика, мягко, но крепко, словно удерживая. Правая — на плече смеющейся девочки, легко, почти невесомо, словно отпуская. Её высокая фигура в тёмном платье застыла с осанкой человека, привыкшего держать достоинство даже тогда, когда мир этого не заслуживает. Тёмные пряди волос были разметаны, будто их трепал ветер.

Но лица у женщины не было. Правый верхний угол фотографии был размыт и оплавлен. То ли от воды, просочившейся сквозь стену, то ли от едкого химиката, то ли от самого времени, действовавшего с хирургической, злонамеренной точностью. Мутное пятно накрыло лицо женщины от подбородка до макушки. Всё остальное снимок сохранил с издевательской ясностью: складки платья, пальцы, пряди волос. Но лицо — то единственное, что Дэвин хотел бы видеть больше всего на свете, — пятно забрало себе. Словно чья-то жестокая воля решила, что мальчик из Серой зоны не имеет права помнить внешность матери. Ему хватит её рук. Хватит силуэта. Хватит призрака.

Двенадцать секунд. Он отвернулся.

Пульс стучал в висках. Глаза ещё хранили отпечаток мутного пятна. Он моргнул, и образ растворился, уступив место серому металлу стен и знакомым контурам инструментов.

Сегодня был рабочий день.

В Серой зоне выходных не существовало. Само понятие отдыха требовало ощущения безопасности, а безопасности здесь не было — лишь паузы между необходимостями. Но сегодняшний день был рабочим в особом, дэвиновском смысле. Сегодня был день доставки.

Он убрал посуду, опустил на корточки у верстака и привычным движением нащупал под столешницей край фальшивой панели.

Двойное дно, вырезанное им собственноручно из листа авиационного дюрала, было замаскировано так, что даже при тщательном обыске — а обыски в Серой зоне случались, случались без предупреждения и без ордеров, — панель выглядела частью конструкции стола. Она открывалась только при одновременном нажатии в трёх точках: две по краям, одна в центре, со строго определённым усилием. Слишком слабо — не сработает. Слишком сильно — тоже. Дэвин калибровал механизм под собственные пальцы, под собственную мышечную память. Чужие руки эту панель не откроют. По крайней мере — не сразу. А «не сразу» в Серой зоне иногда означало разницу между свободой и допросным подвалом Корпуса.

Панель отошла с тихим, еле слышным щелчком. Внутри, в неглубокой нише, высланной антистатической тканью, лежали шесть коммуникаторов «Мост-14».

На первый взгляд — стандартные армейские переговорные устройства, серийный выпуск, каких тысячи гуляли по рукам после расформирования Восточного гарнизона. Ничего примечательного. Корпус — матовый чёрный пластик, слегка потёртый, с заводской маркировкой и серийным номером. Но внутри от заводского «Моста» не осталось почти ничего. Дэвин перепрошил каждый из них вручную, заменив штатное программное обеспечение собственной прошивкой, написанной на модифицированном ассемблере — языке, который он выучил по рассыпающимся техническим мануалам, найденным в затопленном подвале бывшей библиотеки у Шестого коллектора. Он выпаял модули геолокации — крохотные чипы, которые докладывали Корпусу о каждом перемещении устройства, — и заменил их пустыми болванками, чтобы плата не выдавала отсутствие компонента при сканировании. Он снял стандартные шифровальные протоколы — те самые, ключи от которых хранились в серверах Корпуса, — и установил собственные, построенные на алгоритме, который он разработал сам, в бессонные ночи, при свете паяльной лампы, царапая формулы на обрывках миллиметровки. И, наконец, он модифицировал антенный контур, перемотав катушку индуктивности и заменив конденсаторы, — увеличив радиус устойчивой связи с жалких двухсот метров до полутора километров в условиях плотной городской застройки. В открытом поле — до двух с лишним.

На чёрном рынке Серой зоны такой коммуникатор стоил три месячных рациона. Три месяца еды — за возможность говорить, не будучи услышанным теми, кем ты не хотел быть услышанным. В чистом районе, за КПП, цена возрастала вдесятеро, а иногда и больше — потому что модифицированный «Мост» не отслеживался Корпусом, не выдавал координат, не записывал разговоры, не существовал ни в одной базе данных. Для состоятельных обитателей чистого города, для бизнесменов, чиновников, для всех тех, кто вёл дела, не предназначенные для чужих ушей, такой коммуникатор был роскошью. Маленьким, уместающимся в ладони глотком свободы. Возможностью произнести вслух то, что ты на самом деле думаешь, и не обнаружить наутро на пороге людей в серой форме с нашивками Корпуса на рукавах.

Для Дэвина всё это не имело значения. Он не думал о свободе слова, о правах, о сопротивлении системе. Он думал о еде. О запасных платах. О новом жале для паяльника, потому что старое выгорело до основания. Эти шесть устройств в антистатической ткани были не символом борьбы и не актом протеста. Они были хлебом. Его ремеслом, его валютой, его способом не умереть.

Он уложил коммуникаторы в подкладку куртки — одну за другой, привычными, экономными движениями, каждую в свой карман. Куртка была сшита специально, на заказ, у старого портного Ильича, который жил в бывшей трансформаторной будке у Второго периметра и шил

из чего угодно — из брезента, из палаточной ткани, из старых армейских плащ-палаток. Снаружи куртка выглядела как обычная рабочая спецовка — бурая, потёртая, ничем не примечательная, из тех, что носит каждый второй обитатель Серой зоны. Но внутри неё скрывались шесть потайных карманов, расположенных так, чтобы не нарушать силуэт, не выдавать себя подозрительными утолщениями, не звенеть и не стучать при ходьбе. Каждый карман был проложен тонким слоем медной фольги — кропотливо вырезанной, тщательно подогнанной, — образуя экранирующий кожух, клетку Фарадея в миниатюре, которая не позволяла приборам излучать. Ни один сканер на КПП не мог уловить сигнал устройства, спящего за медным экраном. По крайней мере — ни один из тех сканеров, что Дэвин видел до сих пор.

Куртка была тяжёлой — в снаряжённом состоянии, со всеми шестью коммуникаторами, она весила почти как бронежилет. Но Дэвин привык. Его тело давно запомнило этот вес, приняло его, встроило в осанку и походку. Он носил эту куртку три года — три года и четыре месяца, если считать точно, а Дэвин всегда считал точно. За это время он чинил её дважды: первый раз — зашивал рукав, порванный арматурным прутом, когда он уходил от патруля через развалины у Восьмого сектора; второй раз — латал дыру на спине, прожжённую искрой от чужого костра на ночном рынке. Подкладку он менял раз в полгода — фольга изнашивалась, мялась, теряла экранирующие свойства, и Дэвин не мог себе позволить рисковать. Каждая новая подкладка — это два дня работы, рулон медной фольги, выменянный у старьевщика Гриши за мелкий ремонт, и несколько часов скрупулёзного, почти ювелирного труда, от которого сводило пальцы и слезились глаза. Куртка была его рабочим инструментом — таким же необходимым и незаменимым, как паяльник, мультиметр или осциллограф. Только паяльник не мог спасти жизнь, а куртка — уже спасала. Дважды. Может, трижды, если считать тот случай у Северного КПП, о котором он предпочитал не вспоминать.

Он сел на край койки и надел ботинки. Армейские, с высоким берцем, когда-то принадлежавшие кому-то, чей размер был на полразмера больше — Дэвин компенсировал это дополнительной стелькой, вырезанной из пенополиуретана. Подошва была перешита дважды: сначала — когда протёрлась до дыр, потом — когда он заменил стандартный армейский протектор на гражданский, менее заметный, оставляющий другой след. Маленькая предосторожность, которая, возможно, не имела значения, а возможно — имела. Шнурки он заменил на паракорд — тонкий, прочный, способный выдержать на разрыв до ста двадцати килограммов. Шнурки — это два с половиной метра верёвки, которая всегда с тобой. В Серой зоне верёвка — это инструмент, оружие, страховка, жгут. Мелочь, о которой не задумываешься, пока она не понадобится.

Дэвин наклонился и проверил нож в голенище правого ботинка — коротким, привычным движением, отработанным до автоматизма, пальцы скользнули вниз, нащупали рукоять, легонько надавили, убеждаясь, что лезвие сидит в ножнах плотно, не болтается, не выпадет при беге. Это была привычка, не необходимость. Скорее — суеверие, ритуал, вроде тех двенадцати секунд перед фотографией. Он знал, что на КПП нож отберут, если найдут. Знал, что пронести его через контрольный пункт — задача нетривиальная, и с каждым месяцем всё менее тривиальная, потому что Корпус обновлял протоколы досмотра, ставил новые рамки, менял алгоритмы случайной выборки. Он знал всё это.

Но до КПП нужно было ещё идти.

А Серая зона просыпалась рано. Она просыпалась с первым серым светом, просачивающимся сквозь щели в перекрытиях, с гулом генераторов, с кашлем и руганью в соседних отсеках, с лязгом металла и хлопаньем дверей. И не все, кто просыпался с ней, были настроены дружелюбно. Не все помнили вчерашние договорённости. Не все считали чужое имущество чужим. Нож в голенище — это не оружие. Это последний аргумент в разговоре, который пошёл не так. И лучше иметь этот аргумент при себе, даже если ты надеешься никогда его не использовать.

Он остановился перед выходом — герметичной дверью, которую когда-то снял с промышленного холодильника и установил вместо штатной двери вагона. Дверь закрывалась на три замка: механический, магнитный и «секрет» — самодельный запор, который открывался поворотом невидимой рукоятки, утопленной заподлицо в стену. Нужно было знать, куда нажать, чтобы она вообще появилась.

Дэвин открыл все три замка — привычно, не задумываясь, как дыхание. Толкнул дверь. Вышел наружу.

Утро было серым — в самом буквальном смысле. Небо над Серой зоной всегда было серым: не от облаков, а от взвеси — пыль, копоть, маслянистые испарения от сотен кустарных мастерских, где жгли пластик, плавил металл, перегоняли химикаты. Всё это поднималось вверх и висело, не рассеиваясь, плотной мутной пеленой. В чистых районах небо было голубым — там работали атмосферные фильтры, гигантские установки на крышах зданий, которые очищали воздух в радиусе нескольких километров. Серая зона лежала за пределами этого радиуса. Здесь никто ничего не очищал. Здесь дышали тем, что есть.

Вагон Дэвина стоял — вернее, лежал — на дне неглубокого оврага, среди руин промышленного комплекса. Вокруг громоздились бетонные остовы цехов, ржавые каркасы конвейеров, горы щебня, заросшие лопухами в человеческий рост. Лопухи были единственным, что росло здесь охотно — даже жадно. Они тянулись к серому небу своими мясистыми листьями, покрытыми жирной пылью, и выглядели так, словно собирались пережить и эту цивилизацию, как пережили все предыдущие. Им было всё равно. Они просто росли.

Дэвин поднялся по тропе — узкой, вытоптанной его собственными ногами за пять лет, петляющей между бетонных обломков. Кое-где ступени были выбиты прямо в спрессованном грунте, кое-где он подкладывал куски арматуры, чтобы не скользить в дождь. Тропа вела на гребень оврага, а оттуда — к Просеке: широкой полосе расчищенной земли, которая тянулась с востока на запад, разделяя жилые кварталы Серой зоны и промышленные руины. Просека возникла не сама по себе — её вырубили, выжгли, вычистили Стражи Корпуса лет тридцать назад, когда кто-то наверху решил, что нужна полоса обзора между «управляемой» частью Серой зоны и «дикой». Потом, как водится, про неё забыли — и люди, не теряя времени, заполнили пустоту собой. Теперь Просека была рынком.

Рынок ещё не развернулся в полную силу — было слишком рано, — но первые торговцы уже расставляли свои лотки. Лотками служило всё, что имело хоть какую-то горизонтальную поверхность: снятые с петель двери, столешницы, капоты машин, листы фанеры, положенные на кирпичи. Кто-то просто расстилал на земле куски брезента. Товары были всё те же, что вчера, что год назад, что всегда — еда: консервы с давно просроченными сроками, овощи с подпольных гидропонных ферм, мясо неизвестного и непроверяемого происхождения, лепёшки, пахнущие горелым маслом и почему-то железом. Одежда — ношенная, перешитая, латаная, но чистая: в Серой зоне грязную одежду не покупали, это считалось дурным тоном, одним из немногих оставшихся здесь тонов. Инструменты, запчасти, медикаменты — большей частью поддельные, но попадались и настоящие, если знать, у кого брать. Алкоголь — всегда настоящий. В Серой зоне умели гнать. Это было, пожалуй, единственное ремесло, в котором здешние мастера не уступали никому по ту сторону радиуса.

Дэвин прошёл через рынок, не останавливаясь. Он знал здесь всех — и все знали его. Не по имени — по функции. Он был «технарь из оврага», «тот, кто чинит», «парень с коммуникаторами». В Серой зоне имена значили мало. Значили руки — и то, что эти руки умели делать. Руки Дэвина умели многое, и это давало ему то, что здесь заменяло уважение: его не трогали.

— Карра! — окликнул его голос откуда-то слева, из-за лотка с разложенными на промасленной тряпке гаечными ключами.

Дэвин не обернулся. Он ускорил шаг. Голос принадлежал Жуку — мелкому скупщику краденого, который вечно пытался всучить ему «уникальные детали» по тройной цене, а потом

обижался, когда Дэвин отказывался. Дэвин имел дело с Жуком дважды и оба раза пожалел: детали оказались дрянью — перегоревшие платы, выдаваемые за рабочие, треснутые корпуса, замазанные клеем, — а сам Жук оказался трепачом, который мог проболтаться о клиентах, их заказах и их адресах за стакан мутного самогона. В Серой зоне такие люди были опаснее открытых врагов, потому что враг хотя бы предсказуем, а трепач — никогда.

— Карра, подожди! У меня кое-что есть! Настоящее!

Голос Жука был настойчивым, почти обиженным — так скулит собака, которой не дали кость. Но Дэвин даже не замедлился. Он свернул за угол полуразрушенного гаража, стена которого была сплошь покрыта облупившейся краской и чьими-то неразборчивыми надписями, и исчез из поля зрения Жука. Быстрым, привычным шагом прошёл через дворы — лабиринт, который знал наизусть, как собственный вагон. Здесь не нужно было думать, куда ставить ногу, — тело помнило само. Три поворота, проход между стенами так узкий, что приходилось поворачиваться боком, потом подъём по пожарной лестнице на крышу пятиэтажки. Лестница держалась на честном слове и двух болтах, которые Дэвин лично проверял каждый месяц. Он весил семьдесят три килограмма, а лестница выдерживала девяносто — он испытывал её мешками с щебнем, увеличивая нагрузку постепенно, пока на девяносто одном не услышал характерный стон металла. Запас прочности — семнадцать килограммов. Более чем достаточно. Если, конечно, не толстеть. В Серой зоне это было несложно.

С крыши — по перекинутой доске на соседнюю крышу. Доска была широкая, строительная, из настоящего дерева, и лежала надёжно, упираясь концами в бетонные бортики, но Дэвин всё равно каждый раз проходил по ней быстро, не глядя вниз — не из страха, а из привычки не задерживаться на открытых местах. С соседней крыши — вниз, по внутренней лестнице, мимо заколоченных квартир и выбитых окон, до первого этажа, где пахло сыростью и кошачьей мочой, и через пролом в стене — наружу, на улицу Макарова.

Улица Макарова была последней улицей Серой зоны перед КПП.

Здесь мир менялся. Перемена была не резкой, но ощутимой — как переход из холодной воды в чуть менее холодную. Дома стояли ровнее — не потому, что были лучше построены, а потому, что ближе к границе Корпус следил за порядком. Фасады были целы. Окна — застеклены. Мусора на тротуарах было меньше — его убирали, пусть не каждый день, но убирали. Кое-где даже горели фонари, настоящие, электрические, а не самодельные масляные лампы, к которым привык глаз в глубине Серой зоны. Людей здесь было больше. Заметно больше. И все они шли в одном направлении — к КПП, на работу в чистые районы.

Серая зона поставляла чистому городу то, чего тот не мог или не хотел производить сам: дешёвый труд. Уборщики, грузчики, разнорабочие, подсобники на стройках, мойщики, сортировщики, те, кто стоит на ногах двенадцать часов и не жалуется, потому что жаловаться некому. Люди без глифов — или с глифами настолько слабыми, что Корпус не считал нужным вносить их в Реестр, — каждый день проходили через КПП, получали временный допуск, отпечатанный на дешёвом пластике, и работали в сияющих стеклянных башнях, которые видно было даже отсюда, с Макарова, когда ветер ненадолго разгонял серую пелену. Мыли полы в вестибюлях, таскали ящики на складах, чинили трубы в подвалах — делали всё то, что не видно и не важно, пока не перестанет делаться. Вечером — обратно через КПП. Каждый день. Шесть дней в неделю. Седьмой — «день тишины», когда КПП закрывались и Серая зона оставалась наедине с собой. В эти дни улица Макарова была пуста, как дно высохшей реки. Но сегодня был не седьмой день — и река текла.

Дэвин влился в поток. Куртка с шестью коммуникаторами во внутренних карманах весила привычные пять с половиной килограммов — он чувствовал их вес на плечах, равномерно распределённый, знакомый, почти успокаивающий. Он шёл, засунув руки в карманы, ссутулившись, глядя в землю — типичная походка жителя Серой зоны, идущего на смену. Плечи вперёд, голова вниз, шаг ровный, ничем не примечательный. Не привлекать внимания.

Не смотреть по сторонам. Не выделяться. В толпе безликих — стать самым безликим. Это было не трудно. Дэвин занимался этим всю жизнь.

КПП «Южный-4» показался через десять минут ходьбы. Сначала — верхний край белой стены над крышами домов, потом — вся коробка целиком, по мере того как улица Макарова расширялась, переходя в площадь. КПП выглядел как всегда: бетонная коробка в три этажа, выкрашенная в белый цвет — белый, цвет Корпуса, цвет чистоты, цвет пустоты, цвет, который не говорит ничего и этим говорит всё. Краска была свежей — КПП красили регулярно, раз в полгода, даже здесь, на границе Серой зоны, словно белизна стен была не эстетикой, а утверждением. Мы здесь. Мы следим. Мы белые, а вы — серые.

Перед коробкой — площадь, залитая тусклым утренним светом, перегороженная металлическими барьерами, которые формировали очередь в виде змеи — длинной, многократно изогнутой, терпеливой змеи. Барьеры были стальные, отполированные тысячами прикосновений — люди опирались на них, пока ждали, и металл блестел в тех местах, где его касались ладони, а в остальных — был матовым и тусклым. Очередь уже вытянулась на двести метров, может больше — Дэвин давно перестал считать точно. Люди стояли тихо, терпеливо, почти неподвижно. Переминались с ноги на ногу. Смотрели в экраны дешёвых коммуникаторов или просто в пустоту перед собой. Никто не разговаривал — или разговаривал так тихо, что со стороны это выглядело как шевеление губ. Они привыкли ждать. Ожидание было частью жизни в Серой зоне — такой же естественной, как серое небо и пыль на лопухах.

Над входом в КПП — надпись. Не электронная, не голографическая, не проецируемая — высеченная в камне, глубоко, как заповедь, как закон, как слово, которое было в начале и будет в конце:

«ИДЕНТИЧНОСТЬ — ОСНОВА ПОРЯДКА.
ПОРЯДОК — ОСНОВА МИРА.
МИР — ОСНОВА ЖИЗНИ.
ПРИКОСНОВЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ.»

Буквы были крупные, рубленые, без засечек — их было видно с любой точки площади, из любого места в змеящейся очереди. Они были вырезаны в плите из серого гранита, вделанной в белую стену, и контраст серого камня с белой краской был, конечно, не случайным. Ничего в Корпусе не было случайным.

Дэвин читал эту надпись тысячу раз. Может, больше. Каждый раз, проходя через КПП — а он проходил через него два-три раза в неделю, годами, — он поднимал глаза и читал. Не мог не читать. И каждый раз она вызывала одно и то же чувство — странную, почти болезненную смесь тошноты и восхищения. Они жили в нём одновременно, эти два чувства, не мешая друг другу, как две ноты в аккорде.

Восхищения — потому что надпись была гениальна. По-настоящему, без оговорок гениальна. В четырёх строчках — вся идеология Корпуса. Вся логическая цепочка, каждое звено которой казалось неопровержимым: если ты не идентифицирован — нет порядка; нет порядка — нет мира; нет мира — нет жизни. Следовательно, если ты не прошёл через руки Идентификатора — ты не живёшь. Ты существуешь, но не живёшь. Как камень на обочине. Как вода в луже. Как ржавый вагон метро, лежащий на дне оврага среди лопухов. Ты есть — но тебя нет. Четыре строчки, и целый мир расколот надвое: на тех, кто подтверждён, и тех, кто нет. На живых и на призраков. И самое страшное — большинство людей, читая эту надпись, кивали. Не из страха. Из согласия.

А тошноты — потому что Дэвин знал: это работало. Не как пропаганда, не как лозунг, не как пустое заклинание — как факт. Как описание реальности, которую все помнили или, по крайней мере, о которой все слышали. Безымянные Годы — 2098–2112 — четырнадцать лет хаоса, войн, эпидемий, четырнадцать лет, когда рухнули все электронные системы идентификации — все, одна за другой, как костяшки домино, — и мир оказался в ситуации, кото-

рую никто не предвидел и к которой никто не был готов: в ситуации, когда никто не мог доказать, кто он такой. Серверы сгорели. Базы данных обратились в цифровой пепел. Резервные копии оказались такими же мёртвыми, как основные. Банки не открывали счета — потому что не могли проверить, кому их открывают. Государства не выдавали документы — потому что не существовало системы, способной отличить подлинную заявку от поддельной. Границы стали фикцией. Собственность стала вопросом силы, а не права. Преступники становились честными гражданами, меняя имена, как перчатки, а честные граждане превращались в никого — в людей без прошлого, без документов, без доказательств собственного существования. Четырнадцать лет мир тонул в анонимности. И анонимность, о которой так мечтали поколения борцов за приватность, оказалась не свободой, а адом. Адом, в котором ты мог быть кем угодно — и потому не был никем.

Глава 2. «Идентификаторы»

А потом появились Идентификаторы. Не технология. Не система. Не алгоритм. Люди. Живые люди, которые могли прикоснуться к другому человеку — лбом ко лбу, кожа к коже, глаза в глаза — и с абсолютной, нечеловеческой точностью сказать, кто он. Не по документам, которых больше не существовало. Не по отпечаткам пальцев, которые можно было подделать. Не по ДНК, анализ которой требовал лабораторий, давно превратившихся в руины. А по чему-то более глубокому, более фундаментальному, чем генетический код, чем форма лица, чем рисунок радужки. По глифу.

Глиф — слово, которое Дэвин ненавидел и которое не мог перестать произносить, как ненавидишь и не можешь перестать трогать языком больной зуб. Снова и снова. Зная, что будет больно. Зная, что не поможет. И всё равно — трогая. Глиф. Глиф. Глиф.

Глиф — это уникальная «подпись» человеческого сознания. Не мозга — сознания. Разницу объясняли по-разному: учёные Корпуса использовали термины, в которых Дэвин разбирался через слово, проповедники Храма Прикосновения говорили о душе, а люди в Серой зоне не говорили об этом вовсе, потому что какая разница, как это назвать, если оно определяет всю твою жизнь. Суть была проста: каждый человек имеет глиф, как каждый человек имеет лицо. Глиф возникает вместе с сознанием — не в момент рождения, а чуть позже, когда разрозненные нейронные сигналы складываются в нечто, что можно назвать «я». И с этого момента глиф растёт вместе с человеком, меняется вместе с ним, усложняется — но никогда, ни при каких обстоятельствах не совпадает с чужим. Как отпечаток пальца, но неизмеримо сложнее. Как лицо, но неизмеримо глубже. Лицо можно подделать — пластикой, гримом, маской, хирургией, цифровой проекцией. Голос можно синтезировать. Походку можно скопировать. Отпечатки пальцев — снять и перенести на латексную плёнку, это умели делать ещё в двадцатом веке. Даже ДНК — при наличии оборудования и знаний — можно было обмануть. Но глиф подделать нельзя. Глиф — это ты. Весь. Целиком. Без остатка. Вся твоя история, все твои мысли, страхи, надежды, привязанности, травмы, радости, стыд, который ты прячешь, и нежность, в которой не признаёшься, — всё это, переплетённое в узор немыслимой сложности, формирует уникальный паттерн, который Идентификатор считывает при контакте. Лоб ко лбу. Кожа к коже. Две-три секунды тишины — и Идентификатор знает, кто ты. Не кем ты назвался. Не кем хочешь быть. А кто ты есть.

Прибор — не может. Ни один прибор, созданный за тридцать лет после Безымянных Годов, не смог воспроизвести то, что делал Идентификатор. Пытались — много раз, с огромными бюджетами, с лучшими умами, с суперкомпьютерами, способными моделировать погоду на всей планете. Не получилось. Глиф не поддавался оцифровке. Его нельзя было записать, скопировать, передать на расстоянии, сохранить в базе данных. Он существовал только в момент контакта — как искра между двумя проводами, как звук между двумя ладонями при хлопке. Был — и нет. Есть только результат: Идентификатор произносит имя, и система записывает подтверждение. Живой человек — вместо сервера. Прикосновение — вместо сканера. Корпус построил на этом целый мир. Новый, белый, упорядоченный мир, в котором каждый человек подтверждён — или не существует.

Дэвин сунул руку во внутренний карман куртки — не в тот, где лежали коммуникаторы, а в другой, потайной, вшитый в подкладку у самого сердца, — и нащупал подменку. Маленький цилиндр размером с палец, гладкий, чуть тёплый от тепла тела, с едва ощутимой кнопкой на торце. Пальцы обхватили его привычно, как рукоять знакомого инструмента. Подменка была его собственным изобретением — одним из немногих, которым он по-настоящему гордился, хотя гордость эта была тихой, ни с кем не разделённой, потому что рассказать о подменке значило её потерять. Три месяца работы. Двенадцать прототипов, из которых одиннадцать не

работали. Бессонные ночи в вагоне, при свете паяльной лампы, с лупой, с руками, мелко дрожащими от усталости и кофеина. Но двенадцатый — двенадцатый заработал.

Принцип был прост — настолько прост, что Дэвин удивлялся, почему до этого не додумался никто другой. Впрочем, может, и додумался — просто не выжил достаточно долго, чтобы рассказать. Устройство генерировало короткий электромагнитный импульс строго определённой частоты — не мощный, едва регистрируемый стандартными детекторами, но точно, ювелирно настроенный на диапазон, в котором работало восприятие Идентификатора. Дэвин нашёл этот диапазон методом проб и ошибок — долгим, кропотливым перебором частот, при котором он наблюдал за Идентификаторами на КПП через самодельный бинокль с крыши соседнего дома, фиксируя каждое подёргивание, каждый сбой, каждую паузу. Это не было обманом — обмануть Идентификатора невозможно, их чувство не электромагнитное по природе, оно вообще не имело природы, которую наука могла бы описать и воспроизвести. Но импульс создавал помеху — как вспышка яркого света перед глазами того, кто пытается читать мелкий шрифт. На две-три секунды Идентификатор терял концентрацию, как человек теряет нить разговора от внезапного громкого звука посреди тихой комнаты. Глиф расплывался в его восприятии, контуры размывались, и Идентификатор моргал, тряс головой, на мгновение отстранялся — а потом продолжал работу, списывая сбой на усталость, на мигрень, на слишком длинную смену. Две-три секунды — крошечное окно, почти ничто. Но достаточно, чтобы проскользнуть мимо в толпе, пройти контрольную точку в тот момент, когда глаза Идентификатора затуманены и руки его не тянутся к следующему лбу.

Подменка работала не всегда. Дэвин вёл статистику — аккуратно, в тетради, зашифрованную цифрами, которые выглядели как бухгалтерские записи. Примерно семь случаев из десяти. Семьдесят процентов. Для инженера — неприемлемо низкий показатель надёжности. Для контрабандиста — роскошь. Три случая из десяти, когда подменка не срабатывала, Дэвин просто проходил через КПП как обычный рабочий — его временный допуск был настоящим, выданным на имя Д. Карра, разнорабочий, без глифа в Реестре, категория «серый». Допуск давал право войти и выйти — но не давал права проносить что-либо, кроме личных вещей. Шесть коммуникаторов во внутренних карманах куртки личными вещами не являлись. Они являлись контрабандой. И если Идентификатор на КПП окажется достаточно внимательным, достаточно отдохнувшим, достаточно добросовестным — он почувствует не только глиф Дэвина, но и его намерение. Его напряжение. Его страх. И тогда будет обыск, и тогда будут коммуникаторы на столе, и тогда будет допрос, и тогда — Блок. Дэвин старался не думать о Блоке. Получалось не всегда.

Он пользовался подменкой раз в неделю — не чаще, ни при каких обстоятельствах, даже если заказов было много, даже если Марго просила срочно, даже если деньги заканчивались. Чаще — не стоило, потому что КПП вели статистику сбоев. Где-то в белом здании, на одном из верхних этажей, за одним из одинаковых столов сидел человек или программа — Дэвин не знал что именно, — и сводил цифры: сколько сбоев на каком КПП, в какое время, при каком Идентификаторе. Слишком частые аномалии на одном и том же пункте в одно и то же время привлекали внимание. Внимание привлекало проверку. Проверка привлекала Надзор. А Надзор — это было то, чего в Серой зоне боялись больше, чем голода, больше, чем болезней, больше, чем зимних отключений электричества.

Сегодня был его день. Понедельник. Дэвин выбрал понедельник не случайно — он вообще ничего не делал случайно, когда дело касалось КПП. Понедельник — самый загруженный день недели. После «дня тишины», когда КПП были закрыты и Серая зона сидела взаперти, люди рвались наружу, на работу, к заработку, к возможности провести день по ту сторону барьеров. Самые длинные очереди, самый плотный поток, самые уставшие Идентификаторы — они начинали смену в шесть утра и к восьми уже работали на автомате, прикасаясь лоб ко лбу, считывая, подтверждая, отпуская, прикасаясь снова, конвейер из лиц и гли-

фов, бесконечная лента чужих сознаний, от которой к середине смены начинала болеть голова и мутнели глаза. Лучшее время для подменки. Лучшие условия из возможных. Семьдесят процентов надёжности в понедельник утром превращались — по ощущениям Дэвина, не по статистике, статистики для понедельников отдельно он не вёл — во все восемьдесят. Может, восемьдесят пять. Может, он себя обманывал. Но обманывать себя в нужном направлении — тоже навык. В Серой зоне — необходимый.

Он встал в очередь. Занял своё место в змее — между грузной женщиной в синей куртке, пахнувшей стиральным порошком и потом, и худым стариком с руками, испещрёнными шрамами от ожогов. Никто не посмотрел на него. Никто не заговорил. Змея медленно, метр за метром, двигалась к белой пасти КПП, и Дэвин двигался вместе с ней, сутулый, безликий, с рукой во внутреннем кармане, где тёплый цилиндр подменки лежал у самого сердца, отсчитывавая секунды до момента, когда придётся нажать кнопку — и надеяться, что сегодня выпадут те самые семь из десяти.

Вокруг — лица. Десятки лиц, сотни лиц, и ни одного знакомого. Он никого здесь не знал, и его никто не знал, и в этом была своеобразная ирония — стоять в очереди на идентификацию среди людей, которые для тебя безымянны и безлики, как манекены в витрине заброшенного магазина. Здесь, в очереди на КПП, все были одинаково маленькими. Одинаково незначительными. Одинаково покорными — хотя вслух этого слова никто бы не произнёс, потому что покорность подразумевает, что когда-то было сопротивление, а сопротивление подразумевает, что есть чему сопротивляться, а это уже мыслепреступление, хотя Корпус, конечно, не использовал такого слова — слишком литературно, слишком двадцатый век. Корпус говорил мягче: «дестабилизирующее мышление». Мужчины, женщины, молодые, старые, высокие, низкие, худые, полные — все в одинаковой серо-коричневой одежде, словно город был огромной стиральной машиной, которая прокрутила всё население на одном и том же цикле и выплюнула одинаково блёклым. Яркие цвета в Серой зоне были редкостью — не запрещены формально, нет, Корпус не опускался до таких грубых ограничений, но считались дурным тоном, дурным знаком, дурным выбором. Зачем привлекать внимание? Внимание — это взгляд. Взгляд — это интерес. Интерес — это вопрос. А вопросы в Серой зоне ни к чему хорошему не приводили. Поэтому все одевались так, чтобы раствориться, слиться, исчезнуть в массе, стать ещё одним серо-коричневым пятном в серо-коричневой толпе на серо-коричневой площади перед белоснежным зданием КПП. Все с одинаково опущенными глазами — не из страха, нет, скорее из привычки, из экономии сил, из того инстинктивного понимания, что поднятый взгляд — это вызов, а вызов — это энергия, а энергию нужно беречь для вещей более важных, чем гордость. Все с одинаково сутуленными плечами — не от холода, хотя утро было прохладным, а от тяжести. Не физической — другой. Той, которая не давит на мышцы, а давит на что-то внутри, между рёбрами, там, где, если верить поэтам, живёт душа, а если верить Идентификаторам — формируется глиф.

Рядом с Дэвином — слева, через полметра барьерного пространства — стояла женщина лет сорока. Может, тридцати пяти — в Серой зоне люди старели быстрее, и угадать возраст было так же бессмысленно, как угадывать, какой стороной упадёт монета в невесомости. Полная, с широким усталым лицом, на котором усталость лежала не как выражение, а как черта — постоянная, вросшая в кожу, ставшая частью анатомии. Под глазами — тени, не тёмные круги от бессонницы, а именно тени, как будто свет падал на её лицо иначе, чем на лица других людей, обходя глаза стороной. Руки у неё были красные, рабочие, покрытые россыпью мелких ожогов — старых и свежих, белёсых и розовых, наслоенных друг на друга, как годовые кольца на спиле дерева. Кухонный работник, автоматически определил Дэвин — мозг делал это помимо воли, каталогизировал, классифицировал, раскладывал по полочкам, потому что привычка замечать детали была не профессиональной деформацией, а условием выживания. Работает в каком-нибудь ресторане в чистом районе — не в дорогом, в дорогих рестораны

нанимали поваров с подтверждённым глифом и белым допуском, а в среднем, может, в столовой при каком-нибудь офисном блоке, где серым разрешалось занимать технические должности. Жарит, парит, моет посуду в промышленной раковине с водой чуть ниже ожоговой температуры — отсюда руки. Она прижимала к груди пластиковый контейнер с едой — прозрачный, дешёвый, с мутной крышкой, через которую угадывались очертания чего-то, завернутого в фольгу. Обед. Она несла с собой обед, потому что покупать еду в чистом районе на зарплату кухонного работника из Серой зоны было примерно то же самое, что отапливать квартиру, сжигая мебель, — технически возможно, но через неделю будешь сидеть на полу. Контейнер она держала обеими руками, бережно, как держат маленькое животное или спящего ребёнка, и что-то в этом жесте — в его простоте, в его незащитности — кольнуло Дэвина под рёбрами, там, где, если верить Идентификаторам, формируется глиф.

За женщиной — через одного человека, за сутулым мужчиной средних лет, который не запомнился ничем, — стоял парень лет двадцати. Тонкий, как проволока, с острыми скулами и узкими плечами, на которых куртка — серая, на два размера больше, чужая или купленная на вырост, хотя вырастать ему было уже некуда — висела, как на вешалке. Нервный. Это было видно сразу, это было видно за километр, это было видно так отчётливо, что Дэвину захотелось подойти к нему и сказать: «Парень, если ты несёшь что-то запрещённое — ради всего, что тебе дорого, успокойся, потому что ты сейчас светишься, как неоновая вывеска в тёмном переулке». Глаза у парня бегали — не метались, нет, именно бегали, быстрыми короткими перебежками от одной точки к другой: барьер, камера над входом, спина впереди стоящего, собственные ботинки, снова камера, снова барьер. Руки он держал в карманах, и карманы чуть подрагивали — мелкой, почти незаметной дрожью, которую заметил бы только тот, кто знал, куда смотреть. Дэвин знал. Первый раз на КПП, подумал он. Или несёт что-то запрещённое. Или — и это был самый вероятный вариант, потому что жизнь в Серой зоне не отличалась разнообразием сценариев — и то, и другое одновременно. Кто-то, скорее всего, кто-то более опытный и менее совестливый, уговорил его пронести что-нибудь — пачку чипов, пакет с порошком, может, даже коммуникатор, один, не шесть, как у Дэвина, — пообещав денег или услугу, или пригрозив чем-нибудь, что в Серой зоне звучало убедительнее денег. И парень согласился, потому что в двадцать лет в Серой зоне не так много вариантов, и вот он стоял в очереди, дрожа карманами и бегая глазами, и не понимал — или понимал, но слишком поздно — что его нервозность сама по себе была контрабандой. Идентификатору не нужен был обыск, чтобы почуять страх. Страх фонил. Страх менял глиф — не постоянно, нет, но на время контакта он окрашивал паттерн в тона, которые опытный Идентификатор считывал так же легко, как Дэвин считывал ожоги на руках кухонной работницы.

Дэвин отвёл взгляд. Не его дело. В Серой зоне чужие дела были самым опасным грузом из всех возможных — тяжелее коммуникаторов, тяжелее оружия, тяжелее запрещённых медикаментов. Чужие дела тянули на дно вернее, чем собственные грехи.

Очередь двигалась медленно. Медленнее, чем обычно, — или так только казалось, потому что время в очереди на КПП текло иначе, гуще, тяжелее, как масло из перевернутой канистры. Каждый шаг вперёд — полшага, не больше, подошвы шаркают по бетону, барьер скользит под ладонью, впереди — затылок, впереди затылка — ещё затылок, и ещё, и ещё, бесконечная гирлянда затылков, уходящая к белой двери КПП, которая открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась, ритмично, безостановочно, как механическое сердце. Двадцать минут — Дэвин прошёл треть пути. Он знал это не по часам, а по ориентирам: трещина в бетоне площади в форме буквы Y — треть; ржавый болт, торчащий из основания третьего барьера слева — половина; пятно от масла, въевшееся в бетон так давно, что стало частью ландшафта — две трети. Сорок минут — две трети. Масляное пятно осталось позади, теперь под ногами был бетон почище — здесь площадь мыли, или, по крайней мере, поливали из шланга, раз в несколько дней. Час — и он увидел пост.

Мысли шли параллельно с ожиданием — привычные, наезженные, как колея на грунтовой дороге, по которой тысячу раз проехал один и тот же грузовик. Мозг думал сам, без спросу, без приглашения, безостановочно вращая одни и те же шестерёнки, перемалывая одни и те же зёрна. Дэвин давно перестал пытаться это контролировать. Контролировать мысли в очереди на КПП было всё равно что контролировать дыхание во сне — теоретически возможно, практически бессмысленно.

«Вся мощь государства — в прикосновении.»

Он часто думал об этом. Не мог перестать. Это было как заноза — мысль, которая сидела глубоко, где-то под кожей привычной картины мира, раздражала при каждом движении, воспалялась при каждом прикосновении к теме, но не давалась пальцам, не вытаскивалась, не поддавалась ни логике, ни иронии, ни усталому «ну и что, весь мир так живёт». Не вытаскивалась — и не давала покоя. Гноилась.

«Весь порядок мира — в касании кожи о кожу.»

Двадцать второй век. Сто двадцать шестой год третьего тысячелетия. Человечество колонизировало Марс — пока только станциями, пока только горсткой безумцев в герметичных модулях, засыпанных красной пылью, но всё же — колонизировало, вышло за пределы колыбели, ступило на другую планету не туристом, а жильцом. Квантовые компьютеры решали задачи, которые ещё сто лет назад казались не просто невозможными, а бессмысленными — задачи, для формулировки которых не существовало языка, пока не появились машины, способные их решить. Генетическая инженерия победила рак — все формы, включая те, что считались неизлечимыми. Победила диабет, обоих типов. Победила большинство наследственных заболеваний — муковисцидоз, гемофилию, хорею Хантингтона, весь этот длинный и страшный список, который столетиями был приговором, а теперь стал историей, параграфом в учебнике, воспоминанием, от которого ещё вздрагивали старики, но которое уже ничего не говорило молодым. Нанотехнологии чинили здания, мосты, дороги без участия человека — микроскопические рои, невидимые глазу, ползали по бетону и стали, находили трещины, заполняли пустоты, укрепляли каркасы, и город чинил сам себя, как живой организм чинит порез на коже, — медленно, но неуклонно. Искусственный интеллект управлял энергосетями, транспортными потоками, климатическими установками, системами водоснабжения — и справлялся с этим лучше, чем любая человеческая бюрократия, тише, точнее, без коррупции и усталости.

И при всём этом — при всей этой ошеломляющей, головокружительной мощи, при всём этом торжестве разума и технологии, при всех этих квантовых компьютерах и марсианских станциях и наноботах, ползающих по мостам, — в основе мироустройства лежал человек, который трогал другого человека за лоб. Живой палец — на живой коже. Тёплый лоб — к тёплому лбу. Закрытые глаза. Две секунды тишины. И вердикт. Вот ты кто. Подтверждён. Следующий.

«Мы доверили цивилизацию рукам. Буквально.»

Дэвин подвинулся на полшага вперёд — очередь дёрнулась, как длинное тело змеи, когда голова делает плоток, — и мысль продолжала крутиться, наезженная, привычная, бесполезная и неотвязная, как припев дурацкой песни, услышанной случайно и застрявшей в голове на весь день. Он думал: есть что-то глубоко, непоправимо абсурдное в том, что цивилизация, научившаяся расщеплять атом и сшивать гены, цивилизация, создавшая машины, способные мыслить быстрее человека, — эта самая цивилизация не смогла найти способ установить личность человека без того, чтобы другой человек коснулся его лба. Вся гигантская пирамида — Корпус, Реестр, КПП, Идентификаторы, белые здания, камеры, барьеры, допуски, категории, чистые зоны и серые зоны, весь этот тщательно выстроенный, безупречно функционирующий механизм контроля — всё это стояло на одном-единственном фундаменте: на способности нескольких тысяч человек по всему миру делать нечто, чего не может повторить ни одна машина. Прикасаться — и знать.

И это знание было хрупким. Не в том смысле, что его можно было подделать — нет, глиф оставался неприступным, как скала. Хрупким — в человеческом смысле. Идентификаторы уставали. Идентификаторы болели. Идентификаторы ошибались — редко, чудовищно редко, но ошибались, и каждая ошибка стоила кому-то жизни, а кому-то — свободы. Идентификаторы старели и умирали, и новых рождалось не так много, потому что дар — а это был именно дар, неуправляемый, непередаваемый, не наследуемый по понятным генетическим законам — дар появлялся по собственному расписанию, в собственной логике, которую тридцать лет исследований так и не смогли расшифровать.

«Рукам,» — повторил Дэвин про себя, продвигаясь ещё на полшага. — «Мы доверили всё — рукам. И теперь молимся, чтобы эти руки не дрогнули.»

Дэвин усмехнулся — внутренне; лицо осталось неподвижным, как маска, отлитая из того же серо-коричневого бетона, что и площадь под ногами. Он давно научился улыбаться только внутрь. Это было одним из первых навыков, которые Серая зона вколачивала в своих обитателей — раньше, чем умение торговаться на чёрном рынке, раньше, чем умение спать при включённом свете, раньше, чем умение не замечать камеры. Улыбка внутрь. Смех внутрь. Ярость внутрь. Всё — внутрь. Лицо — это витрина, а витрина должна быть пустой, потому что всё, что ты выставишь напоказ, рано или поздно кто-нибудь разобьёт и заберёт.

«Квантовый компьютер не может определить, кто ты.»

Мысль была старая, обкатанная, отполированная тысячей повторений до гладкости речной гальки, но она по-прежнему царапала — каждый раз, каждое утро, каждый раз, когда он видел очередь, каждый раз, когда он видел белое здание, каждый раз, когда он чувствовал на языке металлический привкус покорности, которую здесь называли порядком.

«Нейросеть не может. Самая мощная, самая изощрённая, самая навороченная нейросеть, обученная на миллиардах образцов, перемоловшая петабайты данных, — не может. Упирается в стену, как слепой щенок в стекло, скулит, выдаёт ошибку, выдаёт шум, выдаёт ноль.»

«Генетический анализ — может определить тело, но не личность. Может сказать: вот эта ДНК принадлежит биологическому организму с такими-то параметрами, такой-то группой крови, таким-то цветом глаз, такой-то предрасположенностью к облысению. Но не может сказать главного. Однояйцевые близнецы — генетически идентичны, до последнего нуклеотида, до последней базовой пары, неотличимы, как два оттиска одной печати, — но их глифы разные. Совершенно, абсолютно, принципиально разные. Как два голоса, поющих разные песни. Как два отпечатка пальцев, принадлежащих разным людям. Генетика строит дом, но не решает, кто в нём живёт.»

«Сканер мозга видит электрическую активность — видит прекрасно, в мельчайших деталях, в реальном времени, с разрешением до отдельного нейрона, — но не видит «тебя». Как камера наблюдения видит лицо, но не видит мыслей за ним. Как микрофон слышит голос, но не слышит намерения. Сканер показывает, что мозг работает, — но не показывает, чей это мозг. Не показывает ту неуловимую, невесомую, неизмеримую штуку, которая делает тебя — тобой, а не кем-то другим. Штуку, для которой у науки до сих пор не было названия, а у Корпуса — было. Глиф.»

«Только другой человек может сказать тебе, кто ты.»

«И не любой человек — не случайный прохожий, не сосед, не мать, не друг, не враг, не любовник. А специально обученный. Специально отобранный из тысяч кандидатов, прошедших сито тестирования, которое отсеивало девяносто девять и девять десятых процента. Специально выращенный — именно выращенный, как выращивают редкое растение в оранжерее, контролируя свет, температуру, влажность, состав почвы, — выращенный в закрытых школах Корпуса с шести лет, в изоляции от внешнего мира, в стерильной тишине, в бесконечных упражнениях на чувствительность, на концентрацию, на точность. Идентификатор.»

«Почему?»

Это был вопрос, который Дэвин задавал себе каждый день. Не риторически — риторические вопросы были роскошью философов и пьяниц, а Дэвин не был ни тем, ни другим. Буквально. Конкретно. Практически. Он задавал этот вопрос так, как инженер задаёт вопрос сломанному механизму: не «зачем ты сломался?», а «что именно в тебе не работает и как это починить?». Он работал над ответом пять лет — пять лет, которые можно было потратить на что-нибудь более разумное, более безопасное, более совместимое с продолжением жизни в Серой зоне. Пять лет тайных исследований, пять лет краденых материалов и контрабандных компонентов, пять лет ночей без сна в подвале, который пах горелой изоляцией и надеждой — а надежда, как выяснилось, пахнет примерно так же, как паяльная кислота: резко, едко и с привкусом безумия. Он построил прибор. Своими руками — теми самыми руками, которым цивилизация так трогательно доверила своё будущее, — он спаял, свинтил, запрограммировал устройство, которое, по его расчётам, по его теории, по его пятилетней одержимости, должно было делать то же, что делал Идентификатор. Считывать глиф. Без прикосновения. Без человека. Без всей этой средневековой, унижительной, абсурдной процедуры — палец на лоб, две секунды тишины, вердикт. Он провёл почти две тысячи тестов. Тысячу девятьсот сорок семь, если быть точным, а Дэвин любил быть точным, потому что точность — это единственная форма контроля, доступная человеку, у которого нет ни власти, ни денег, ни белого допуска. Тысячу девятьсот сорок семь попыток — на себе, на добровольцах, на случайных знакомых, которые соглашались за мелкую плату или за услугу, не спрашивая, зачем, потому что в Серой зоне не спрашивать «зачем» — это ещё один навык выживания, усвоенный раньше, чем умение улыбаться внутрь. И каждый раз — каждый из тысячи девятисот сорока семи раз — он получал одно и то же.

Шум.

Белый, равномерный, бессмысленный шум. Как если бы он пытался поймать радиостанцию, которая вещает на частоте, не существующей в природе. Как если бы он пытался сфотографировать звук. Как если бы он пытался взвесить тень. Прибор работал — каждый компонент, каждый датчик, каждый контур функционировал безупречно, Дэвин проверял трижды, четырежды, десять раз, — но вместе они не видели ничего. Только шум. Глиф — если он вообще существовал как физическое явление, в чём Дэвин иногда, в самые тёмные ночи, в самые тихие часы, начинал сомневаться, — глиф оставался невидимым для любого прибора, как невидим цвет для слепого. Не потому, что цвета нет. А потому, что нет глаз.

«Почему человек — а не прибор?»

«Потому что человека можно запугать, подкупить, сломать, убить. Потому что человек устает, болеет, стареет, ошибается. Потому что человек — ненадёжен по определению, хрупок по конструкции, уязвим по природе. А прибор — нет. Прибор не боится. Прибор не берёт взятку. Прибор не просыпается в три часа ночи от кошмаров. Прибор не чувствует вины, когда отправляет невинного человека в изолятор. Прибор не может быть соучастником. Прибор — честен той абсолютной, нечеловеческой честностью, которая не знает ни жалости, ни корысти.»

«Но прибора нет. Есть только человек. И они называют это надёжностью.»

Очередь продвинулась — ещё один короткий рывок, ещё одно шарканье подошв по бетону, ещё одно перемещение из точки А в точку Б, где расстояние между точками измерялось не метрами, а минутами оставшейся анонимности. Дэвин увидел пост — возвышение из белого камня, гладкого, отполированного, сияющего среди серого бетона КПП, как зуб во рту старика, — высотой по грудь взрослому мужчине, квадратное в основании, с плоской верхней площадкой, на которой стоял единственный предмет: тонкая подушка из белой ткани. И на этой подушке, на этом возвышении, на этом алтаре — потому что это и был алтарь, понял Дэвин давным-давно, это был алтарь в самом буквальном, самом древнем, самом честном смысле этого слова: место, где одно существо вверяет свою судьбу другому, — на этом алтаре сидел Идентификатор.

Нет. Не сидел.

Сидела.

Идентификатор была молодой женщиной — лет двадцати двух, двадцати трёх, никак не больше, хотя с Идентификаторами возраст угадывался ещё хуже, чем с жителями Серой зоны, только по противоположной причине: если серые старели слишком быстро, то Идентификаторы старели слишком медленно, словно жизнь в стерильных школах Корпуса, жизнь без солнца, без ветра, без грязи, без горя — без всего того, что оставляет на лице следы, — консервировала их, сохраняла в янтаре вечной юности, которая при ближайшем рассмотрении оказывалась не юностью, а пустотой. Бритая голова — гладкая, безупречно гладкая, как речной камень, обточенный тысячелетним течением, без единого волоска, без родинки, без шрама, без малейшего изъяна, — блестела в утреннем свете, который пробивался через узкие окон-бойницы КПП тусклыми, пыльными лучами и ложился на этот череп, как на купол маленького храма. Бритьё головы было обязательным для всех Идентификаторов — официально это объяснялось гигиеной и «чистотой восприятия» (волосы, якобы, создавали «помехи» при считывании глифа, что звучало примерно так же убедительно, как утверждение, что шляпа мешает думать), но Дэвин подозревал — нет, Дэвин был уверен, — что истинная причина была проще и грубее: бритая голова делала Идентификатора нечеловеческим. Отбирала индивидуальность, стирала черты, превращала лицо в функцию. Трудно увидеть личность в человеке без волос, без украшений, без одежды, которую он выбрал сам. Легко увидеть инструмент.

Белая форма — не халат, какие носили медики в клиниках чистого района, и не мундир, какие носили офицеры Корпуса, а что-то среднее, что-то, не принадлежащее ни миру заботы, ни миру власти, а существующее в собственном пространстве, в собственной категории, для которой не было готового слова: длинная туника из плотной ткани — Дэвин не мог определить материал на расстоянии, но ткань выглядела дорогой, гораздо дороже всего, что можно было купить в Серой зоне, плотной, матовой, не мнущейся, — застёгнутая до самого горла на невидимые застёжки, так что казалось, будто ткань просто срослась на груди, слилась краями, как заживший шов, без единого зазора. Без единого украшения — ни нашивки, ни эмблемы, ни вышивки, ни даже шва, который можно было бы разглядеть невооружённым глазом. Без знаков различия — Дэвин не знал, существовала ли у Идентификаторов внутренняя иерархия, были ли среди них старшие и младшие, опытные и начинающие, сильные и слабые; если и были, то форма этого не выдавала. Без карманов — это была деталь, которая почему-то всегда цепляла Дэвина больше всего остального: отсутствие карманов. Карманы — это место для вещей. Для мелочей. Для мусора повседневности — ключей, монет, записок, огрызков карандашей, крошек от печенья, всего того тёплого, бестолкового, человеческого хлама, который скапливается в карманах, как ил на дне реки. У Идентификаторов карманов не было. Им нечего было в них класть. Им нечего было носить с собой. Им нечего было иметь. Чистота, возведённая в униформу. Чистота, ставшая идеологией. Чистота, ставшая тюрьмой — хотя это слово, разумеется, никто не произносил, потому что тюрьма подразумевает заключённого, а заключённый подразумевает приговор, а приговор подразумевает преступление, а какое преступление может совершить ребёнок шести лет, которого забирают из семьи и увозят в белое здание без окон, чтобы он больше никогда не вернулся?

Идентификаторы не носили ничего, что могло бы отвлечь. Ни колец на пальцах — тех самых пальцах, которые решали судьбы. Ни серёг в ушах — ушах, которые, по слухам, слышали что-то, недоступное обычному человеку, какой-то обертон, какой-то призыв, сопровождающий глиф, как эхо сопровождает крик в пустом здании. Ни часов на запястьях — время для Идентификатора не имело значения, потому что их рабочий день начинался, когда открывался КПП, и заканчивался, когда закрывался, и всё, что было между этими двумя моментами, было не временем, а потоком — бесконечным потоком лбов, глифов, вердиктов, прикосновение за прикосновением, лицо за лицом, душа за душой, если верить в душу, а Идентификаторы, по

слухам, верили, хотя Корпус официально не поощрял религиозных убеждений среди своего персонала. Ничего, что принадлежало бы миру вещей. Ничего, что связывало бы их с миром за стенами белого здания. Ничего — кроме кожи, и костей, и крови, и того невидимого, неизмеримого, необъяснимого дара, который делал их тем, чем они были.

Они сами были вещью. Инструментом. Прибором из плоти и крови — самым точным, самым надёжным, самым незаменимым прибором в арсенале цивилизации, построившей квантовые компьютеры и колонизировавшей Марс, но так и не сумевшей создать машину, способную заглянуть в человека и сказать: вот кто ты. Прибором, который чувствовал боль, и усталость, и одиночество. Прибором, который когда-то, очень давно, в другой жизни, в жизни до белого здания, был ребёнком. Прибором, у которого — Дэвин был в этом уверен, хотя доказать не мог и не пытался — где-то глубоко, под бритым черепом, под белой туникой, под годами тренировок и промывки мозгов, под слоями чистоты и дисциплины, — где-то глубоко всё ещё жил человек. Маленький, испуганный, забытый — но живой. Как заноза под кожей. Как мысль, которая не даётся пальцам.

Дэвин смотрел на неё из-за спин впереди стоящих — из-за этой живой стены из затылков, лопаток и ссутуленных плеч, которая медленно, рывками, как гусеница, перебирающая лапками, продвигалась к посту. Отсюда, с расстояния в пятнадцать метров — он определил на глаз, а глаз у Дэвина был намётанный, откалиброванный годами работы с оптикой, микросхемами и расстояниями, на которых миллиметр решает всё, — она казалась статуей. Белой статуей на белом постаменте: неподвижная, с закрытыми глазами, с руками, сложенными на коленях ладонями вверх, — так иконописцы изображали святых, принимающих благодать, только здесь, на КПП между Серой зоной и чистым миром, благодать пахла бетонной пылью и чужим потом, а вместо нимба над бритой головой висела полоска тусклого утреннего света, пробившегося через бойницу и уже умирающего, не долетев до пола. Она сидела так, словно была частью камня, словно её не посадили на это возвышение, а вырезали из него — тем же резцом, тем же мастером, в тот же день, когда построили КПП. Словно она была здесь всегда. Словно будет здесь всегда. Словно само понятие «не здесь» к ней неприменимо, как понятие «мокрый» неприменимо к воде.

Только когда очередной человек подходил к возвышению — делал последний шаг, тот самый шаг, после которого ты уже не в очереди, а на сцене, уже не зритель, а участник, уже не человек-в-толпе, а человек-перед-Идентификатором, голый, как на рентгене, только хуже, потому что рентген видит кости, а Идентификатор видит тебя, — только когда этот человек наклонялся, подставляя лоб, — статуя оживала.

Медленно. Почти торжественно — с той выверенной, отрепетированной торжественностью, которая бывает у хирургов перед первым разрезом, у сапёров перед первым проводом, у палачей перед первым ударом: торжественность не праздника, а ритуала, торжественность, за которой стоит не радость, а концентрация, не восторг, а точность. Идентификатор поднимала руки — тонкие, бледные, с длинными пальцами, на которых не было ни единого кольца, ни единой мозоли, ни единого следа загара, руки, которые никогда в жизни не держали ничего тяжелее чашки с водой, но которые при этом обладали силой, не измеримой динамометром: силой решать. Ладони — узкие, сухие, с чуть выступающими костяшками, с розоватыми подушечками пальцев, которые, должно быть, были мягкими, как замша, от постоянного контакта с чужой кожей, от сотен, тысяч, десятков тысяч прикосновений, — ладони ложились на виски подошедшего. Не хватали. Не сжимали. Ложились — как ложится лист на воду, как ложится тень на стену, как ложится тишина на комнату после того, как смолкнет последний звук. Аккуратно. Точно. С пугающей нежностью — пугающей, потому что нежность не должна быть точной, нежность должна быть неловкой, избыточной, человеческой, а эта нежность была выверена, как ход часового механизма, как траектория скальпеля, как расстояние между проводами в микросхеме.

Потом — притягивала. Мягко, но неотвратно, как гравитация. Голова подошедшего наклонялась, подчиняясь давлению этих пальцев, подчиняясь не столько физической силе, сколько чему-то другому — авторитету, привычке, страху, покорности, тому древнему инстинкту, который заставляет склонять голову перед тем, кто может тебя уничтожить. И лоб прижимался ко лбу. Кость к кости. Кожа к коже. Две черепные коробки, разделённые четырьмя слоями — его кожа, его кость, её кость, её кожа, — четырьмя тонкими, хрупкими, ничтожными слоями ткани, за которыми лежали два мозга — его, обычный, человеческий, полный страхов и планов и мелкого мусора повседневности, и её, обученный, отточенный, перестроенный, мозг-инструмент, мозг-антенна, мозг-приёмник, настроенный на частоту, которую Дэвин не мог поймать пять лет.

Секунда.

Дэвин считал. Он всегда считал. Счёт был его способом контролировать мир, который не поддавался контролю, — если ты не можешь изменить ситуацию, ты можешь хотя бы измерить её, а измеренная ситуация уже чуть менее страшна, чем неизмеренная, потому что у неё есть параметры, а у параметров есть границы, а у границ есть та сторона, на которой — выход. Дэвин верил в это. Он верил в это так, как религиозные люди верят в молитву: не потому, что это работает, а потому, что без этого невозможно встать утром с кровати.

Две.

В эти секунды — в эти бесконечные, тягучие, растянутые, как жевательная резинка, как проволока на разрыв, как нерв перед тем, как лопнет, секунды — в КПП стояла тишина. Не полная, нет — полной тишины в помещении, где находились двести с лишним человек, не бывает: кто-то дышал, кто-то переминался с ноги на ногу, кто-то шуршал одеждой, кто-то сглатывал, кто-то, наверное, молился, — но это была тишина другого сорта. Тишина ожидания. Тишина зала суда в момент, когда судья набирает воздух перед оглашением приговора. Каждый человек в очереди — даже те, до чьей проверки оставалось ещё полчаса, сорок минут, час — замирал на эти две-три секунды, как замирает стадо, учуявшее хищника. Инстинктивно. Бессознательно. Потому что где-то в глубине каждого из них, под слоями цинизма и усталости и привычного безразличия, жил один и тот же вопрос: «а если не подтвердят?» Не его — вот этого, сейчас, перед постом, — а «меня». «Когда подойдёт моя очередь.»

Три.

Глаза Идентификатора оставались закрытыми. Закрытыми они были и до прикосновения, и во время, и после — Дэвин ни разу, ни за одну из тех процедур, что он наблюдал, стоя в очереди, не видел, чтобы она их открыла. Он начал подозревать, что она не открывала их вообще — весь свой четырнадцатичасовой сеанс, от первого человека до последнего, работала вслепую, в темноте, в той внутренней ночи, которая, по-видимому, была необходима для считывания глифа, как темнота необходима для проявки старых фотоплёнок: любой свет — засветка, любой образ — помеха, любое лицо — шум. Зрение мешало. Зрение показывало человека снаружи — морщины, шрамы, цвет глаз, выражение лица, дрожь губ, всё то, что можно подделать, изменить, скрыть, — а Идентификатору нужно было видеть человека изнутри. Видеть не лицо, а то, что за лицом. Не маску, а того, кто её носит.

Лицо — неподвижным. Ни одна мышца не дрогнула — ни скуловая, ни лобная, ни круговая мышца рта, которая у обычного человека выдаёт всё, что он думает, с точностью бегущей строки. Лицо Идентификатора в эти секунды было не лицом — оно было поверхностью. Экраном, на котором ничего не отображалось. Стеной, за которой что-то происходило — что-то невидимое, неслышимое, непредставимое, — но стена не пропускала ни звука, ни отблеска, ни тени. Только веки чуть подрагивали — мелко, быстро, с частотой, которую Дэвин определил бы как десять-двенадцать герц, если бы у него был с собой прибор для измерения таких вещей, а у него был, просто не здесь и не сейчас, — подрагивали, как у человека, видящего сон. Не спокойный сон, не безмятежную ленивую дрему на нагретых солнцем простынях, а ту

стадию сна, которую нейрофизиологи называют быстрой — стадию, на которой мозг работает активнее, чем наяву, на которой глазные яблоки мечутся под сомкнутыми веками, как звери в клетке, на которой человек видит — видит по-настоящему, видит то, чего нет, с яркостью и убедительностью, превосходящими реальность. REM-фаза. Фаза быстрого движения глаз. Фаза, в которой мозг разговаривает сам с собой на языке, которого сознание не понимает.

Идентификатор видела сон наяву. Чужой сон. Глиф.

Потом — кивок.

Едва заметный. Такой маленький, такой незначительный, такой ничтожный по амплитуде — три, может быть, четыре миллиметра вертикального перемещения подбородка, — что человек, не знающий, что искать, мог бы его пропустить. Мог бы принять за нервный тик, за дрожь усталости, за случайное сокращение мышц. Но этот кивок не был случайным. Этот кивок был приговором — самым коротким, самым окончательным, самым не подлежащим обжалованию приговором в истории человеческого правосудия. Три миллиметра движения — и вся твоя жизнь. Три миллиметра — и ты свободен. Или не свободен. Три миллиметра — и ты человек. Или не человек. Как вздох. Как дуновение ветра через щель в стене. Как последний удар сердца перед тем, как оно остановится.

«Подтверждён».

Слово не произносилось вслух. Никогда. Идентификаторы не говорили — по крайней мере, Дэвин ни разу не слышал, чтобы хоть один из них произнёс хоть одно слово во время работы. Может быть, они вообще не говорили — может быть, это было одним из условий, одним из правил, одним из многочисленных ограничений, которые Корпус налагал на своих драгоценных, незаменимых, единственных в своём роде инструментов, — а может быть, им просто нечего было сказать. Кивок был достаточен. Кивок считывался оператором — неприметным человеком в сером, сидевшим за терминалом справа от поста, с экраном, на котором высвечивались данные, и пальцами, которые вводили результат: «подтверждён» или «не подтверждён», один или ноль, жизнь или отсутствие жизни, — и этого было достаточно. Слова были избыточны. Слова принадлежали миру людей, а Идентификатор, как Дэвин напоминал себе каждый раз, когда ловил себя на сочувствии, — была не человеком. Была инструментом. Была прибором. Так, во всяком случае, гласил закон, и кто был Дэвин, чтобы спорить с законом? Никто. Человек из Серой зоны с треснувшими часами и самодельным устройством в кармане — никто.

Человек — тот, чей лоб только что был прижат ко лбу Идентификатора, чей глиф только что был считан, чья личность только что была подтверждена тремя миллиметрами движения чужого подбородка, — человек выпрямлялся. Не сразу. Сначала — пауза. Секунда, полсекунды, четверть секунды — маленькая, но заметная задержка, словно подтверждённый не сразу понимал, что всё кончилось, что он прошёл, что он — он, что его личность признана, удостоверена, заверена прикосновением. Словно он ожидал чего-то ещё — удара, окрика, второй проверки, подвоха. Серая зона приучала ожидать подвоха. Серая зона приучала не верить хорошим новостям — потому что хорошие новости в Серой зоне чаще всего оказывались плохими новостями, которые ещё не успели снять маску. Потом человек выпрямлялся — резко, рывком, как будто кто-то дёрнул за ниточку, привязанную к его затылку, — и шёл дальше. Быстро. Не оглядываясь. Через турникет — хромированный, блестящий, вращающийся с сытым механическим щёлканьем, как будто он был доволен собой, как будто он знал, что находится на границе миров и наслаждался этим, — через турникет, в чистый мир. В мир широких улиц и работающих фонарей. В мир горячей воды и белого хлеба. В мир, где лица людей были открыты, где улыбки были не внутрь, а наружу, где можно было иметь имя, и карманы, и вещи в карманах, и право на эти вещи, и право на это право.

Следующий.

Конвейер. Живой конвейер из плоти и страха, движущийся с мерной, тошнотворной равномерностью, как стрелка часов по циферблату, как капли из неисправного крана, как шаги надзирателя по коридору — равномерно, неостановимо, безразлично к тому, что чувствует каждая отдельная капля, каждый отдельный шаг, каждый отдельный человек, подставляющий лоб.

Иногда — не кивок.

Качание головой. Такое же едва заметное — те же три-четыре миллиметра, только в горизонтальной плоскости, не вверх-вниз, а влево-вправо, — и от того, что движение было почти идентичным, почти неотличимым от кивка, почти зеркальным, разница между «да» и «нет» казалась ещё более чудовищной, ещё более произвольной, ещё более невыносимой. Три миллиметра в одну сторону — и ты свободен. Три миллиметра в другую — и ты исчез. Между жизнью и нежизнью — расстояние, которое не измерить никаким прибором, кроме одного, и этот прибор сидит на белом камне с закрытыми глазами и бритой головой.

«Не подтверждён».

Тогда — тогда тишина в КПП становилась другой. Не тишина ожидания, а тишина отстранения. Тишина людей, которые очень, очень старательно не смотрят в определённую сторону, не слышат определённые звуки, не замечают определённые события. Тишина толпы, выдавливающей из себя одного. Тишина стаи, бросающей раненого. Дэвин знал эту тишину — он рос в ней. Он знал её оттенки и градации, как сомелье знает оттенки и градации красного: вот тишина-жалость, а вот тишина-облегчение — «не я, не я, слава богу, не я, на этот раз не я», — а вот тишина-страх, чистый, незамутнённый, первобытный страх заразы, страх, что «это» — чем бы «это» ни было — может перекинуться, как огонь, как чума, как невезение.

Из теней по бокам возвышения — из тех густых, чернильных, неподвижных теней, которые в этом здании казались не отсутствием света, а присутствием чего-то другого, чего-то плотного и терпеливого, как смола, как болотная вода, как само время в комнате, где нечего ждать, — из этих теней выступали двое Стражей. Не появлялись — именно выступали, как будто тени были не фоном, а материалом, из которого они были сделаны. Крепкие — не мускулистые, не раздутые, как охранники ночных клубов в старых фильмах, а именно крепкие, плотные, сбитые, как мебель из хорошего дерева, как инструменты из хорошей стали, функциональные, без единого лишнего килограмма, без единого лишнего движения. Молчаливые — Дэвин за все годы, за все свои проходы через КПП, за все очереди, за все наблюдения ни разу не слышал, чтобы Страж произнёс слово. Ни одно. Ни команду, ни предупреждение, ни извинение, ни угрозу. Они работали в тишине — в той же тишине, что и Идентификатор, словно молчание было не просто правилом, а условием, необходимым для функционирования всей системы, словно звук человеческого голоса мог что-то нарушить, что-то расстроить, что-то сбить с настройки. В сером — в форме, которая была не формой, а отсутствием формы: серая ткань, серый цвет, серый крой, ничего, за что мог бы зацепиться взгляд, ничего, что могло бы остаться в памяти, — серое на сером, тень на тени, невидимки, видимые только тогда, когда они хотели быть видимыми, а хотели они этого только тогда, когда кто-то не проходил проверку.

Они брали непрошедшего под локти — не грубо, не нежно, а никак. С тем специфическим, профессиональным, выхолощенным прикосновением, которое не содержало в себе ни грамма эмоции, ни капли человеческого отношения, — прикосновение как функция, как щелчок замка, как срабатывание механизма. Четыре руки — по две с каждой стороны — смыкались на локтях непрошедшего, и непрошедший начинал двигаться. Не своими ногами — то есть формально своими, формально он шёл сам, формально его не тащили и не несли, но на самом деле, и все это понимали, и он сам это понимал, — на самом деле он уже не управлял своим телом. Его тело принадлежало Стражам. Его тело принадлежало системе. Его тело двигалось к боковой двери — невысокой, узкой, тоже серой, почти неотличимой от стены, — и исчезало за ней. Как будто стена проглатывала его. Как будто дверь была ртом — каменным,

холодным, терпеливым ртом, который открывался только для того, чтобы проглотить, и закрывался, не пережёвывая.

Без крика. Иногда непрошедший начинал — что-то, какой-то звук, зародыш протеста или мольбы, но звук обрывался раньше, чем успевал оформиться в слово, как будто Стражи умели обрывать не только движения, но и звуки, как будто их серая форма поглощала не только свет, но и голос. Без драмы. Без сцены. Без той театральности, которая была бы хоть каким-то утешением, хоть каким-то признанием того, что происходит нечто значительное, нечто страшное, нечто достойное хотя бы крика, — нет, ничего подобного. Буднично. Рутинно. Как списание бракованной детали со склада: акт, подпись, утилизация. Без объяснений — ни непрошедшему, ни очереди, ни оператору за терминалом, который вводил «не подтверждён» с тем же выражением лица, с каким вводил «подтверждён», то есть ни с каким. Человек просто исчезал. Был — и нет. Стоял в очереди, дышал, потел, переминался с ноги на ногу, думал о чём-то своём, боялся, надеялся, мысленно торговался с богом или с судьбой, планировал, что будет делать, когда пройдёт, — и вот его нет. Есть пустое место в очереди, которое через секунду заполнится следующим телом, и ещё через секунду никто не вспомнит, что здесь кто-то стоял.

Что с ним происходило дальше? Дэвин задавал себе этот вопрос каждый раз, когда видел, как серая дверь закрывается за очередным непрошедшим. Задавал — и не получал ответа, потому что ответа не было. Были слухи — в Серой зоне слухов было больше, чем крыс, и они были такие же живучие, такие же вездесущие, такие же неистребимые. Возвращали в Серую зону? Некоторые утверждали, что да — что непрошедших просто отправляют назад, аннулируют пропуск, ставят отметку в файле, и всё, и живи дальше, только теперь с чёрной меткой, с клеймом «неподтверждённый», которое превращает и без того непростую жизнь в Серой зоне в ад. Допрашивали? Другие — те, кто любил теории пострашнее, а таких в Серой зоне было большинство, потому что страшная теория почти всегда оказывалась ближе к правде, чем утешительная, — другие говорили, что непрошедших увозят в подвалы Корпуса, в те подвалы, о которых никто ничего не знал наверняка, но все знали достаточно, чтобы бояться, и там допрашивают. Не о чём-то конкретном — не о заговорах, не о контрабанде, не о связях с Той Стороной, — а о самом факте. О том, почему Идентификатор покачал головой. О том, что не так с их глифом. О том, кто они, если они — не они. Стирали? Третьи — самые тихие, самые осторожные, самые напуганные — шептали, что непрошедших стирали. Не убивали — нет, убийство было бы слишком грубым, слишком расточительным, слишком допотопным для цивилизации, которая научилась читать глифы и посылать корабли к другим планетам, — а именно стирали. Обнуляли. Удаляли личность, как удаляют файл с жёсткого диска, — не разрушая физический носитель, не ломая тело, не повреждая мозг, а просто — стирая. То, что оставалось после стирания, по слухам, могло ходить, есть, дышать, выполнять простые команды, но уже не было человеком в том смысле, в котором это слово имеет значение. Оболочка. Скорлупа. Дом, из которого выселили жильца и заколотили окна досками.

Дэвин не знал. Никто не знал. Те, кого уводили, не возвращались с рассказами. Никогда. Ни один. За все годы — ни один. Это само по себе было ответом, хотя и не тем, который хотелось услышать.

Глава 3. «Подменка»

Дэвин наблюдал и считал.

Привычка — старая, как его первый паяльник, верная, как гравитация, бесполезная, как большинство вещей, которые помогают не сойти с ума. Другие люди в очереди стояли неподвижно, или переминались с ноги на ногу, или смотрели в пол, или молились — губы шевелились беззвучно, как у рыб на берегу, — или просто ждали, тупо и покорно, как ждут автобус, как ждут дождь, как ждут смерть. Дэвин — считал. Его мозг — тот самый мозг, который пять лет строил прибор для считывания глифов, тот самый мозг, который каждый раз получал шум вместо ответа, тот самый мозг, который отказывался принимать «невозможно» за ответ, — его мозг не умел простаивать. Не умел ждать. Не умел стоять в очереди, не разбирая её на составные части, не измеряя, не анализируя, не раскладывая по полочкам. Это было его проклятие — и его единственное оружие.

За последние двадцать минут через пост прошли сорок семь человек. Дэвин считал каждого — не лица, лица он не запоминал, лица были нерелевантны, лица были шумом, — а результаты. Кивок или качание. Да или нет. Единица или ноль. Сорок четыре — подтверждены. Кивок, турникет, щёлк, чистый мир. Сорок четыре раза — один и тот же ритуал, одна и та же последовательность движений, одна и та же маленькая смерть и маленькое воскрешение. Три — нет. Три раза — качание головой, серые тени, серая дверь, тишина.

Процент отказа — шесть целых четыре десятых.

Дэвин прогнал цифру через внутренний фильтр — тот фильтр, который формировался годами наблюдений, годами подсчётов, годами стояния в этих проклятых очередях, — и фильтр мигнул красным. Выше обычного. Заметно выше. Обычный процент отказа на этом КПП — Дэвин знал статистику по каждому из двенадцати КПП Серой зоны, знал, как другие люди знают дорогу домой, знал наизусть, во сне мог процитировать, — обычный процент составлял три-четыре. Три с половиной в среднем за последний квартал. Четыре с небольшим в дни повышенного потока — праздники, пересменки, начало месяца, когда все разом бежали за пропусками. Но шесть с лишним — это было другое. Это выходило за рамки. Это было аномалией.

Значит — что?

Дэвин перебрал варианты. Он перебирал их быстро, привычно, как перебирают карты в колоде — не глядя на рубашку, а на ошупь, по краю, по весу, по текстуре.

Вариант первый: Идентификатор устала и перестраховывается. Это было возможно — более чем возможно, это было вероятно. Четырнадцать часов непрерывной работы. Четырнадцать часов прикосновений, считываний, глифов — чужих, по определению чужих, по определению не-своих жизней, вливающих в тебя, как вода в сосуд, который не рассчитан на такой объём. После четырнадцати часов — усталость. После усталости — ошибки. Но ошибки Идентификатора — это не опечатка в документе, не неправильно завёрнутый винт, не пропущенная запятая. Ошибка Идентификатора — это чья-то жизнь. Пропустить чужого — плохо. Не пропустить своего — тоже плохо, но иначе. И уставший Идентификатор, зная это — если он вообще ещё способен что-то знать после четырнадцати часов, — уставший Идентификатор, скорее всего, сместит порог. Будет отсеивать больше, чем нужно. Будет говорить «нет» в сомнительных случаях — а после четырнадцати часов работы сомнительных случаев становится больше, потому что всё становится сомнительным, потому что усталый мозг видит угрозу там, где бодрый видит норму. Перестраховка. Самый понятный, самый человеческий, самый банальный механизм. Усталость рождает страх, страх рождает жёсткость, жёсткость рождает ошибки в одну сторону — сторону отказа. Этот вариант был неприятен, но не опасен. Устав-

ший Идентификатор, перестраховывающийся Идентификатор — это фоновый риск, это шум, это статистическая флуктуация, с которой можно работать.

Вариант второй: сегодня усилен контроль. Это было тоже возможно — и менее приятно. Усиление контроля означало приказ сверху, приказ из Корпуса, приказ, продиктованный чем-то конкретным: слухами о фальсификации, данными о проникновении, информацией от внутренней разведки, которая, по слухам, была повсюду — в Серой зоне, в чистом мире, в самом Корпусе, везде, как воздух, как радиация, как совесть. Усиление контроля означало, что кого-то ищут. Или что-то нашли. Или кто-то наверху решил, что трёх-четырёх процентов недостаточно, что нужно больше, что нужно шесть, семь, десять, пятнадцать, — и Идентификатор, послушный инструмент, прибор из плоти, перекалибровался, сместил порог, начал видеть тени там, где раньше видел людей. Этот вариант был неприятен и опасен. Потому что если контроль усилен — значит, ловят. А если ловят — значит, есть что ловить. А если есть что ловить — значит, есть кто-то, кого можно поймать. И если этот кто-то — Дэвин, если случайность, или донос, или утечка, или невезение, или все четыре одновременно — привели Корпус к порогу его подвала, к его паяльнику, к его прибору, к его тысяче девятистам сорока семи попыткам поймать частоту, которую ловить запрещено, — тогда шесть целых четыре десятых процента отказа были не статистикой. Они были капканом. А он шёл прямо в его челюсти, шаг за шагом, метр за метром, вместе с конвейером, вместе с потоком, вместе с толпой, которая не знала — и не хотела знать, — что среди них стоит человек с самодельным устройством в кармане.

Ни то, ни другое Дэвину не нравилось. Первый вариант не нравился, потому что уставший Идентификатор — непредсказуемый Идентификатор, а Дэвин ненавидел непредсказуемость. Ненавидел её физически, телесно, как некоторые люди ненавидят пауков или высоту, — не рационально, а на уровне нервных окончаний, на уровне рефлекса, на уровне того древнего, рептильного мозга, который ничего не знает о квантовых компьютерах и глифах, но зато знает, что непредсказуемое — опасно, и этого достаточно. Второй вариант не нравился по причинам более очевидным и не требующим объяснений.

Он посмотрел на часы.

Механические. Наручные. Древние — не по стандартам Серой зоны, где древним считалось всё, что старше вчерашнего дня, а по-настоящему: этим часам было не меньше пятидесяти лет, может быть — семьдесят, может быть — больше. Дэвин нашёл их на развале в нижнем секторе — среди ржавых гаечных ключей, дохлых батареек и обломков чьих-то судеб — и купил за горсть медных жетонов, которые в Серой зоне заменяли деньги. Циферблат был треснут — трещина шла от центра к краю, аккуратная, тонкая, как волос, делившая время пополам: с одной стороны — от двенадцати до шести, с другой — от шести до двенадцати, и Дэвин иногда думал, что это метафора, хотя не мог сформулировать — чего именно. Но механизм — механизм был точен. Точен абсолютно, безупречно, неумолимо, с той нечеловеческой, бездушной точностью, которую Дэвин уважал и которой завидовал, потому что живой мозг — даже его мозг, тренированный, откалиброванный, одержимый точностью — живой мозг никогда не мог достичь того, чего достигала пружинка из стали, выгнутая руками мастера, жившего задолго до того, как мир разделился на чистый и серый. Часы шли. Часы шли всегда. Часы шли, когда Дэвин спал, когда Дэвин работал, когда Дэвин терпел неудачу, когда Дэвин стоял в очереди — часы шли, потому что пружинке из стали было всё равно. И это «всё равно» успокаивало. Это «всё равно» было точкой опоры.

Семь тридцать две.

Дэвин произвёл расчёт — быстро, автоматически, как моргание: смена Идентификатора на этом КПП — он знал расписание, он знал расписания всех двенадцати КПП, знал их наизусть, проверял и перепроверял, потому что расписание — это паттерн, а паттерн — это предсказуемость, а предсказуемость — это единственное, что стоит между тобой и хаосом, —

смена начиналась в шесть вечера предыдущего дня. Шесть вечера. Восемнадцать ноль-ноль. Минус семь тридцать две. Равно —

Четырнадцать часов.

Она работала четырнадцать часов без перерыва. Четырнадцать часов на этом белом камне, в этой белой тунике, с этими закрытыми глазами — четырнадцать часов слепоты, добровольной, профессиональной, обязательной слепоты, четырнадцать часов темноты, в которой горели чужие глифы, один за другим, как свечи в бесконечном тёмном коридоре. Четырнадцать часов прикосновений — лоб ко лбу, кожа к коже, чужая жизнь к чужой жизни, — сотен прикосновений, если считать по среднему потоку, по два-три человека в минуту, от ста двадцати до ста восьмидесяти в час, от тысячи шестисот восьмидесяти до двух тысяч пятисот двадцати за смену, — и каждое прикосновение было не просто контактом. Каждое прикосновение было вторжением. Она принимала в себя чужой глиф — считывала, анализировала, сравнивала с чем-то, что хранилось у неё внутри, с какой-то базой, с каким-то эталоном, с какой-то системой координат, природу которой Дэвин не понимал и не мог понять, потому что его приборы видели только шум, — принимала в себя сотни чужих жизней. Сотни чужих страхов — страх не пройти, страх быть разоблачённым, страх опоздать на работу, страх перед чистым миром, страх перед серым миром, страх перед прикосновением, страх перед вердиктом, все эти маленькие, жалкие, человеческие страхи, которые каждый нёс ко лбу Идентификатора, как верующий несёт грехи к алтарю. Сотни чужих надежд — надежда, что пропустят, надежда, что день будет лучше вчерашнего, надежда, что мир изменится, надежда, что дети будут жить иначе, все эти маленькие, хрупкие, обречённые надежды, которые разбивались о белый камень поста и осыпались под ноги, как скорлупа. Сотни чужих грехов — а в Серой зоне грешили все, грешили ежедневно, ежечасно, ежеминутно, грешили самым фактом своего существования в зоне, где правила были написаны для того, чтобы их было невозможно соблюсти, и каждый, кто подставлял лоб Идентификатору, знал, что где-то внутри его глифа записано что-то, за что его можно взять, увести, стереть, — каждый стоял перед постом с этим знанием, и это знание тоже считывалось, тоже вливалось в Идентификатора, тоже оседало в ней, как ил на дне, как яд в печени, как грязь на белой тунике, которую не видно снаружи, но которая копится, копится, копится.

Четырнадцать часов.

Дэвин подумал — и мысль эта была холодной, отстранённой, инженерной, лишённой сочувствия и жалости, потому что сочувствие и жалость были роскошью, которую он не мог себе позволить, не сегодня, не сейчас, не с подменкой в кармане, — Дэвин подумал, что даже машина — настоящая, механическая, железная машина, собранная из стали и меди, из шестерёнок и подшипников, из материалов, которые не знают боли и не умеют бояться, — начинает давать сбои после четырнадцати часов непрерывной работы. Это было не мнение. Это был факт — инженерный, измеримый, доказуемый, записанный в любом учебнике по механике, в любом руководстве по эксплуатации, в любом техническом регламенте. Подшипники перегреваются — трение превращается в тепло, тепло расширяет металл, расширение съедает зазоры, зазоры исчезают, и вот уже подшипник не катится, а скребёт, не работает, а мучается. Смазка высыхает — выгорает, испаряется, разлагается под действием температуры и времени, и детали, которые минуту назад скользили друг по другу гладко и бесшумно, начинают скрежетать, как зубы скрежещут во сне, как металл скрежещет о металл, когда исчезает то тонкое, невидимое, невесомое, что разделяло их и позволяло им сосуществовать. Допуски уплывают — те микроскопические расстояния, те зазоры в десятые и сотые доли миллиметра, на которых держится точность любого механизма, начинают меняться, расти, сжиматься, дрейфовать, и прибор, который утром показывал эталонные значения, к вечеру показывает ерунду, и ты не можешь ему доверять, и ты не должен ему доверять, потому что доверять уставшему прибору

— это преступление против точности, а преступление против точности — это единственное преступление, которое Дэвин считал по-настоящему непростительным.

Но она — и мысль сделала разворот, резкий, как смена ветра, как поворот ножа, как та секунда, когда понимаешь, что метафора, которую ты строил, развалилась, и за ней открылось что-то настоящее, — но она — не машина.

Она — прибор из плоти.

И плоть устаёт иначе, чем железо. Плоть не перегревается — она изнашивается. Не равномерно, не предсказуемо, не по графику, который можно заложить в техрегламент, — а хаотично, избирательно, коварно. Плоть устаёт в тех местах, где ты не ждёшь. Подводит в тот момент, когда ты уверен, что она выдержит. Плоть — это миллиарды клеток, каждая из которых живёт своей жизнью, болеет своей болезнью, умирает своей смертью, и когда ты заставляешь этот хаотичный, самовольный, не подчиняющийся рассудку организм работать сорок часов подряд — считывать глифы, принимать в себя чужие жизни, выносить вердикты, от которых зависит всё, — ты не знаешь, когда он сломается. Железо предупреждает — скрипит, нагревается, вибрирует, даёт тебе знаки, которые можно прочесть, если знаешь язык. Плоть — молчит. Плоть молчит до самого конца, а потом — ломается. Сразу. Без предупреждения. Как стекло. Как лёд под ногой. Как сердце.

Десять метров до поста.

Очередь двигалась — тот же рваный, конвульсивный ритм, шаг-пауза-шаг-пауза, похожий на пульс больного, на работу двигателя, который вот-вот заглохнет, на дыхание человека, который пытается не плакать: вдох — задержка — вдох — задержка. Десять метров. Дэвин мог бы пересчитать их в шаги — четырнадцать, если его обычным шагом, двенадцать, если чуть шире, — мог бы пересчитать их в людей — четверо перед ним, четверо затылков, четыре пары плеч, четыре набора страхов — мог бы пересчитать их в секунды — при среднем времени проверки в четыре секунды, плюс три секунды на переход, плюс секунда на паузу, получалось около тридцати двух секунд до того, как он окажется лицом к лицу с Идентификатором. Тридцать две секунды. Полминуты. Половина минуты, отделяющая его от — чего? От проверки? От разоблачения? От чистого мира, в который ему нужно было попасть не потому, что он хотел широких улиц и горячей воды, а потому что там, в чистом мире, в лаборатории на четырнадцатом уровне, хранились данные, которые могли объяснить — наконец, после пяти лет, после тысячи девятисот сорока семи попыток — почему его приборы видят только шум?

Три метра. Всего три паршивых метра отделяли его от точки невозврата.

Впереди — двое. Мужчина в спецовке — рабочий, судя по рукам: широкие ладони, сбитые костяшки, въевшаяся в трещины кожи тёмная пыль, которую не вытравить никаким мылом. Женщина — та самая, с контейнером, кухонный работник. Контейнер она прижимала к животу обеими руками, как прижимают к груди спящего ребёнка, — бездумно, привычно, почти нежно.

Мужчина подошёл к возвышению. Наклонился — покорно, без колебаний, как наклонялся, вероятно, каждый день на протяжении многих лет. Идентификатор подняла руки, и Дэвин увидел их совсем близко: маленькие, молочно-белые, с короткими аккуратными ногтями, без единой мозоли, без единого шрама. Руки, которые никогда не держали инструмент тяжелее ложки. Руки, которые никогда не знали ни холода, ни ветра, ни шершавой рукояти. Руки, созданные для единственного действия — прикосновения. Ладони легли на виски мужчины мягко, точно, как ложатся на клавиши пальцы пианиста, играющего одну и ту же пьесу десятилетиями. Лбы соприкоснулись.

Одна секунда. Две. Кивок. Подтверждён.

Мужчина отступил, развернулся и ушёл, даже не оглянувшись, — уже забыв о прикосновении, как забывают о рукопожатии, о дежурном кивке, о любом жесте, повторённом столько раз, что он перестал быть событием. Женщина с контейнером шагнула вперёд. Наклонилась

— неловко, мешал выпирающий живот, и она чуть повернулась боком, пытаясь найти удобный угол. Идентификатор подалась навстречу, едва заметно, на несколько сантиметров, помогая сократить расстояние, — привычным, почти материнским движением, в котором не было ни заботы, ни тепла, а только отработанная до автоматизма экономия времени. Руки. Лбы. Касание.

Сейчас.

Дэвин нажал кнопку.

Подменка не издала звука — импульс лежал далеко за пределами человеческого слуха, там, где заканчивается мир, доступный уху, и начинается мир, доступный только нервам. Но Дэвин почувствовал его — лёгкую, почти ласковую вибрацию в кончиках пальцев, как от тронутой в темноте гитарной струны. Импульс ушёл, растворился в воздухе, невидимый, неслышимый, несуществующий для всех, кроме одного человека на этом возвышении. Два метра до Идентификатора. Если расчёт верен — а расчёт обязан быть верен, потому что Дэвин потратил на него четыре месяца бессонных ночей, — в ближайшие две секунды она почувствует нечто вроде звона в ушах. Нет, не звон — Дэвин не мог подобрать точной аналогии, сколько ни пытался. Скорее — как если бы посреди тихой, абсолютно тихой комнаты вдруг ожил мёртвый радиоприёмник и зашипел на пустой частоте. Белый шум. Шорох пустоты. Дезориентация. Потеря фокуса — на секунду, на две, может, на три, если повезёт.

Одна секунда.

Женщина с контейнером стояла перед Идентификатором, лбы соприкасались, и обе застыли в этой странной, почти интимной позе — как две молящиеся, склонившиеся над невидимым алтарём. Дэвин видел лицо Идентификатора в профиль — закрытые глаза, плотно сжатые губы, тонкая вертикальная складка между бровями, похожая на старый, давно затянувшийся шрам. Складка углубилась. Стала резче. Что-то было не так. Импульс подменки наложился на момент считывания — как помеха на радиоволну, как чужой голос, вклинившийся в разговор, — и Идентификатор пыталась отфильтровать этот шум, отделить сигнал от мусора. И ей это давалось труднее, чем обычно. Потому что она устала. Потому что четырнадцать часов на этом возвышении. Потому что сотни глифов — сотни лиц, сотни пар висков под пальцами, сотни чужих внутренних миров, пропущенных через себя, как пропускают сквозь сито мутную воду.

Две секунды.

Дэвин двинулся. Не быстро — быстрое движение привлекает внимание так же верно, как выстрел привлекает крик. Спокойно. Уверенно. Неторопливо. Как человек, который уже прошёл идентификацию и направляется к выходу, думая о чём-то незначительном — об ужине, о завтрашней смене, о натёртой ноге. Он сместился вправо, плавно, без рывка, обогнул возвышение по широкой, ленивой дуге и прошёл мимо турникета — рядом с ним, в полушаге от него, но не через него. Слепая зона. У каждого КПП была слепая зона — Дэвин выучил это правило задолго до того, как решился его применить. Участок, где линии обзора камер наблюдения пересекались под неудобными, невыгодными углами, создавая узкий коридор полумрака в геометрически выверенном пространстве тотального контроля. Место, где Стражи, стоящие по бокам прохода, видели только спины уходящих — монотонную череду затылков и лопаток, неотличимых друг от друга, как звенья одной бесконечной цепи. Дэвин изучал планировку «Южного-4» три месяца, прежде чем рискнул пройти здесь в первый раз. Три месяца наблюдений, замеров, прикидок — мысленных и начерченных на клочках бумаги, которые он потом сжигал. Слепая зона располагалась справа от турникета, между стеной и массивной бетонной колонной, потемневшей от времени и влаги. Полтора метра шириной — не больше. Если идти с правильной скоростью — не слишком медленно, чтобы не застрять, не слишком быстро, чтобы не выделиться, — четыре секунды. Четыре удара сердца. Целая вечность, если знать, чем рискуешь.

Три секунды.

Он прошёл мимо возвышения, так близко, что почувствовал запах — чистый, стерильный, чуть сладковатый, как пахнет свежевystиранное больничное бельё. Идентификатор была в полуметре от него — так близко, что он различал текстуру её кожи: молочно-белая, ровная, без единой родинки, без веснушек, без следов солнца, без той лёгкой обветренности, которую оставляет на лице даже самый ласковый ветер. Кожа человека, живущего внутри. Всегда внутри. Кожа, не знавшая неба.

И в этот момент — в этот единственный, нелепый, невозможный, не предусмотренный ни одним из его планов момент — она открыла глаза.

Не потому что почувствовала его. Нет — подменка ещё действовала, её восприятие было размыто, затянато белым шумом, как пейзаж за мутным стеклом. Она открыла глаза, потому что устала держать их закрытыми. Простейшая физиология. Банальнейшая из причин. Мышцы века — тонкие, нежные, не рассчитанные на марафон — устают, как устаёт любая мышца. Четырнадцать часов. Тысячи сокращений. И она открыла глаза — машинально, бездумно, на долю секунды, — просто чтобы дать векам отдых, просто чтобы моргнуть.

И посмотрела прямо на него.

Их взгляды встретились. Столкнулись. Сцепились — как сцепляются руки двух людей, падающих с обрыва.

У неё были серые глаза. Серо-зелёные, с тёмным ободком по краю радужки, с крохотными золотистыми вкраплениями ближе к зрачку — впрочем, это мог быть блик от ламп. Серо-зелёные глаза. Как у него.

Дэвин не остановился. Тело продолжало двигаться — выучка, рефлекс, инстинкт, вбитый в мышцы годами, когда остановка означала смерть, а промедление было роскошью, которую он не мог себе позволить. Ноги несли его через слепую зону, мимо колонны, к выходу — ровным, размеренным шагом, ничем не отличимым от шага любого другого рабочего в этом бесконечном потоке. Но в голове — в том месте, которое он не мог обнаружить приборами, не мог нащупать пальцами, не мог нанести на схему, — что-то произошло. Не мысль. Не эмоция. Не воспоминание. Что-то более глубокое, более древнее, более тяжёлое — что-то, лежавшее на самом дне его существа, как лежит на дне океана камень, не тронутый ни одним течением. Как если бы внутри него дрогнул колокол, о существовании которого он не подозревал, — огромный, тёмный, покрытый патиной забвения колокол, молчавший всю его жизнь. Одна нота — низкая, протяжная, гулкая, уходящая в такие глубины, куда он никогда не заглядывал и куда, если бы его спросили минуту назад, поклялся бы, что заглядывать не станет.

Он прошёл.

Четыре секунды — он отсчитал каждую, как отсчитывают последние патроны в обойме, точно зная, что перезарядки не будет. Слепая зона осталась за спиной — полтора метра бетона и тени, полтора метра спасительного небытия, в котором он не существовал ни для камер, ни для Стражей, ни для системы. Выход. Он переступил невидимую черту, и мир изменился — резко, бесцеремонно, как меняется картинка на экране при переключении канала.

Глава 4. «Чистый город»

Свет ударил первым. Ярче, чем в Серой зоне, — не просто ярче, а качественно иной, будто кто-то вытер грязное стекло, сквозь которое Дэвин смотрел на мир последние несколько часов. Чистый район начинался сразу за КПП — ни буферной полосы, ни переходной зоны, ни предупреждения. Шаг назад — ты в Серой зоне, в мире пепельного неба и воздуха, от которого першит в горле. Шаг вперёд — и атмосферные фильтры включаются, как невидимый занавес, как стеклянная стена, выстроенная не из стекла, а из технологии и денег, которых по ту сторону КПП нет и никогда не будет. Небо здесь было голубым. Не бледно-серым, не желтоватым, не цвета старой газетной бумаги — голубым. Настоящим, нахально, вызывающе голубым, каким небо бывает на детских рисунках и на рекламных плакатах, которые расклеивают на стенах Серой зоны с издевательской щедростью. Воздух — прохладный, чистый, свежий, пахнущий чем-то цветочным, чем-то сладковатым и нежным, от чего хотелось закрыть глаза и дышать полной грудью, как дышат люди, вынырнувшие из-под воды. Запрограммированные ароматизаторы в вентиляционных системах — Дэвин знал это, знал наверняка, видел схемы, изучал спецификации, мог бы назвать модель распылителя и концентрацию синтетического линалоола в кубическом метре воздуха. Но каждый раз, каждый проклятый раз, переступая эту черту, он удивлялся — непроизвольно, почти болезненно — как убедительно пахнет фальшивая сирень. Как точно они подобрали эту сладость, эту горчинку, эту едва уловимую пыльцовую нотку, которая заставляла мозг поверить — хотя бы на секунду, хотя бы на полсекунды — что где-то рядом действительно растёт куст сирени, настоящий, живой, с тяжёлыми гроздьями цветов, мокрыми от утренней росы.

Он не оглянулся. Оглядываться — признак вины. Оглядываться — значит сказать каждому, кто смотрит: я сделал что-то, из-за чего мне нужно знать, не идут ли за мной. Дэвин усвоил это правило давно, задолго до первой контрабандной ходки, усвоил не из книг и не из чужих советов, а из собственного опыта, из тех первых, отчаянных, дилетантских попыток, когда он оглядывался постоянно — и каждый раз ловил на себе чей-нибудь взгляд, и каждый раз этот взгляд мог оказаться последним, что он увидит на свободе. Так что он шёл вперёд. Не быстро, не медленно. В чистый мир. С шестью контрабандными коммуникаторами, защитными в подкладку куртки — три слева, три справа, распределённые так, чтобы не менять силуэт, не создавать подозрительных утолщений, не звякнуть при неловком движении, — и странным гулом в голове, который не хотел утихать. Который не имел права там быть. Который не значил ровным счётом ничего.

«Серые глаза. Серо-зелёные. Как у него.»

Он мотнул головой — коротко, резко, как собака, стряхивающая воду. Совпадение. Статистика. Арифметика. У половины населения Московского округа серо-зелёные глаза — генетика, северные широты, тысячелетия естественного отбора в условиях низкой инсоляции, пониженная выработка меланина в строме радужной оболочки. Ничего особенного. Ничего, заслуживающего внимания. Он был в полуметре от Идентификатора — разумеется, адреналин. Разумеется, стресс. Мозг, плавающий в коктейле из кортизола и норадреналина, ищет паттерны там, где их нет, — это базовый механизм выживания, апофения, ложное распознавание значимых связей в случайных данных. Профессиональная деформация — он пять лет, пять долгих, одержимых, выжигающих лет строил прибор для распознавания паттернов, для вычленения сигнала из шума, для обнаружения порядка в хаосе, и теперь видел паттерны повсюду: в трещинах на стенах, в ритме капающего крана, в последовательности номеров на грузовых контейнерах, в цвете чужих глаз. Профессиональная болезнь. Профессиональное проклятие.

Гул утих. Не сразу — медленно, неохотно, как утихает эхо в пустом ангаре, отражаясь от стен всё слабее и слабее, пока не растворяется в тишине и не оставляет после себя ничего,

кроме смутного ощущения, что тишина стала чуть другой. Дэвин потрянул головой ещё раз — на этот раз мягче, спокойнее, словно ставя точку в споре с самим собой, — и вошёл в чистый город.

Чистый район «Южный» начинался с бульвара — и это тоже было частью продуманной, тщательно срежиссированной иллюзии, которую район продавал своим обитателям ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Бульвар был первым, что ты видел, пройдя КПП, — и он должен был произвести впечатление. Он его производил.

Широкая аллея, выложенная светлым камнем — не синтетическим композитом, а настоящим песчаником, чуть шероховатым под подошвой, чуть тёплым, впитавшим в себя тепло полуденного солнца. По обе стороны аллеи — клёны. Настоящие, живые, с корнями, уходящими в настоящую землю, а не в гидропонные кассеты. Это было предметом гордости района, его визитной карточкой, его главным козырем в негласном соревновании чистых районов за звание самого благополучного, самого цивилизованного, самого далёкого от Серой зоны — не в километрах, а в ощущении. Клёны были высокими, старыми, с толстыми, узловатыми стволами, покрытыми шершавой корой, испещрённой глубокими бороздами и трещинами, в которых — Дэвин замечал это каждый раз — жили какие-то мелкие насекомые, копошились, суетились, занимались своими неведомыми делами, не подозревая, что живут в самом дорогом квадратном метре живой древесины во всём Южном секторе. Кроны — раскидистые, густые, тяжёлые — смыкались над аллеей, превращая бульвар в тоннель из зелени и золота, в живой собор с листовенным сводом, сквозь который солнечный свет пробивался отдельными лучами, отвесными и чёткими, как лучи прожекторов. Листья ещё не начали по-настоящему желтеть — было начало сентября, и лето не отпускало город из своих рук, — но кое-где, на самых верхних ветках, на тех, что первыми встречали утренний холод, уже проступали робкие, почти винные пятна охры, словно кто-то тронул зелень кончиком ржавой кисти. Как первая седина в тёмных волосах. Как предчувствие, которое ещё можно не заметить, но уже нельзя не почувствовать.

Под клёнами шли люди. Другие люди. Люди из другого мира — мира, который находился в каких-то пятистах метрах от Серой зоны, но с тем же успехом мог находиться на другой планете, в другой галактике, в другом измерении, куда не ведёт ни одна дверь, кроме КПП.

Дэвин всегда замечал разницу — с первого шага, с первого взгляда, с первого вдоха. И каждый раз, каждый без исключения раз, эта разница причиняла ему боль. Тупую, ноющую, привычную, как ноет старая травма в непогоду, — боль, которую он не мог объяснить и не хотел объяснять, потому что объяснение потребовало бы слов, а слова потребовали бы честности, а честность потребовала бы признать вещи, которые он предпочитал оставлять в той тёмной комнате внутри себя, куда он никогда не заходил и дверь которой держал запертой на все замки, какие только мог найти.

Люди чистого района ходили иначе. Это было первое, что бросалось в глаза, — не одежда, не лица, а именно походка. Спины — прямые, не напряжённые, а именно прямые, расправленные, как расправляется парус, поймавший попутный ветер. Плечи — развёрнутые, свободные, ничем не придавленные, не несущие на себе того невидимого, но осязаемого груза, который Дэвин видел на каждом обитателе Серой зоны — груза неопределённости, неустойчивости, хронического ожидания беды. Взгляды — открытые, спокойные, направленные вперёд и вверх, а не в землю, не в собственные ботинки, не в точку в полуметре от носков, как ходят люди, привыкшие к тому, что земля под ногами может в любой момент уйти. Они смотрели друг на друга — не с подозрением, не с тревогой, не с той быстрой, скользкой оценкой, которая свойственна людям, живущим среди людей, любой из которых может оказаться угрозой, — а с безразличной, почти сонной уверенностью опознанных. Уверенностью тех, кто прошёл идентификацию, кто получил подтверждение, кто точно знает: я — это я, и система это знает, и все вокруг это знают, и никто не поставит это под сомнение. Каждый из них знал, кто он.

И знал, что все вокруг знают, кто они. Это знание — простое, базовое, животное по своей сути, древнее любой технологии, любой системы, любого государства — меняло всё. Решительно, абсолютно, бесповоротно всё. Походку — она становилась легче, увереннее, длиннее в шаге. Осанку — позвоночник распрямлялся, как распрямляется росток, получивший наконец достаточно света. Голос — он звучал ровнее, спокойнее, без тех нервных обертонов, которые делают голос обитателя Серой зоны узнаваемым за три слова. Даже лица: лица идентифицированных были спокойнее, разглаженнее, моложе, как будто знание собственного имени, твёрдое, неоспоримое, подтверждённое прикосновением Идентификатора, работало лучше любого крема от морщин, лучше любого лекарства, лучше любого сна. Как будто тревога — а тревога была матерью всех морщин, Дэвин знал это наверняка — просто не имела здесь почвы, на которой могла бы прорасти.

Одежда — яркая, чистая, разнообразная, дерзкая в своей нарочитой, вызывающей пестроте, словно каждый обитатель чистого района считал своим долгом компенсировать серость того мира, который начинался за КПП, — серость, о которой они, разумеется, старались не думать и не вспоминать, как не вспоминают о дурном сне при свете дня. Мужчина в тёмно-синем костюме шёл навстречу — высокий, подтянутый, с лицом, выражавшим ту особую форму задумчивости, которая свойственна людям, чьи мысли заняты вещами более сложными, чем выживание. Ткань его костюма переливалась на ходу, меняя оттенок от тёмно-синего до почти чёрного, подстраиваясь под температуру, под освещение, под движение — адаптивный текстиль, серия «Комфорт», третье поколение, Дэвин видел рекламу на перехваченных каналах и даже однажды держал в руках образец, принесённый знакомым барыгой, — ткань была живой на ощупь, тёплой, чуть пульсирующей, как кожа спящего животного. Женщина в платье цвета закатного неба — не стоячая, не сидящая, а именно идущая, плывущая по аллее, как плывёт парусная лодка по спокойной воде, — подол её платья менял оттенок при каждом шаге, перетекая от розового к лиловому и обратно, как хамелеон, как живое пламя, как отражение заката в подвижной воде, и Дэвин поймал себя на том, что смотрит на этот подол дольше, чем следовало бы, — не потому что платье было красивым, а потому что там, откуда он пришёл, цвет был роскошью, а не правом. Подросток в спортивном комбинезоне пробежал мимо — легко, пружинисто, беззаботно, с наушниками в ушах и улыбкой на лице, и каждый его шаг был чуть длиннее, чем нужно, чуть выше, чем нужно, потому что обувь — обувь с активной амортизацией, с микропроцессорами в подошве, подстраивающими жёсткость под поверхность — слегка пружинила, слегка подбрасывала, слегка толкала вперёд, как будто сама земля помогала ему идти, как будто мир был на его стороне.

Дэвин шёл среди них — среди этих людей, среди этой яркости, среди этого света и запаха фальшивой сирени — в своей тяжёлой, грубой куртке с потёртыми локтями и засаленным воротником, в латаных ботинках, в которых левая подошва чуть отставала от верха и при каждом шаге тихо, едва слышно чавкала, как маленький голодный рот, — с лицом, приученным не выражать ничего. Ни удивления. Ни зависти. Ни злости. Ни той тупой, ноющей боли, которая пульсировала где-то за грудиной, как второе сердце, — тише основного, но упрямее. Он чувствовал себя пятном. Тёмным, неопрятным, неуместным пятном на чистой белой скатерти, которое все видят, но никто не хочет замечать, потому что заметить — значит признать, что скатерть не так чиста, как хотелось бы, что мир не так аккуратен, как обещают рекламные плакаты, что за КПП, за невидимым занавесом атмосферных фильтров, существует другая жизнь — грязная, серая, задыхающаяся, — и она ближе, чем кажется. Гораздо ближе.

Но пятно — и Дэвин усмехнулся про себя, краем рта, почти незаметно, — пятно было его профессиональным преимуществом. Люди не смотрят на пятна. Люди отводят взгляд. Люди обходят стороной, ускоряют шаг, находят что-то интересное на горизонте или в экране коммуникатора. Пятно неприятно. Пятно хочется не видеть. А то, чего не хочется видеть, — становится невидимым. И в этой невидимости, в этом добровольном, коллективном, почти инстинк-

тивном нежелании замечать неудобное — лежал фундамент всего, что Дэвин делал. Лежал фундамент его свободы — единственной формы свободы, доступной человеку без идентификации, человеку без имени, человеку-пятну.

В чистом районе контрабандисты из Серой зоны делились на два типа — и только на два, без промежуточных вариантов, без полутонов, без исключений, подтверждающих правило. Заметные и незаметные. Живые и мёртвые, если отбросить эвфемизмы, потому что в конечном счёте принадлежность к первому типу означала лишь вопрос времени — не «если», а «когда». Заметные — это те, кто пытался подражать местным. Кто копил месяцами, выкраивая из скудного заработка жалкие крохи, чтобы купить на чёрном рынке дешёвые копии адаптивной одежды — грубые подделки, сшитые в подпольных мастерских Серой зоны из контрабандного текстиля третьей регенерации, который менял цвет с опозданием в полсекунды, а при резком повороте шёл рябью, как поверхность воды, потревоженная брошенным камнем. Кто часами стоял перед мутным зеркалом, репетируя походку — свободную, пружинистую, уверенную походку человека, которому принадлежит тротуар, которому принадлежит воздух, которому, в сущности, принадлежит весь этот проклятый сияющий мир. Кто выпрямлял спину, натягивал на измождённое, подточенное хроническим недосыпом и дрянным питанием лицо выражение сытого, неторопливого, породистого достоинства — того особого достоинства, которое можно вырастить только на почве стабильности, только в теплице безопасности, и которое невозможно, совершенно невозможно подделать, как невозможно подделать годовичные кольца на срезе дуба. Их ловили первыми. Всегда. Без исключений. Потому что копия — любая копия, сколь бы тщательной она ни была, — всегда хуже оригинала. Всегда чуть-чуть мимо. Чуть-чуть не так. Шаг слишком выверенный — а настоящая уверенность не выверяет, она просто есть. Улыбка слишком старательная — а настоящее спокойствие не старается, оно дышит. Взгляд слишком прямой — а настоящее безразличие не смотрит прямо, оно скользит. И фальшь — эта крохотная, почти невесомая, почти неуловимая фальшь — чувствовалась. Не глифом — нет, Идентификаторы не ходили по бульварам, не стояли на перекрёстках, не сидели в кафе, выискивая самозванцев в толпе. Фальшь чувствовалась обычным, старым, как сам род человеческий, чутьём — тем звериным, допотопным, дотехнологическим инстинктом, который поднимает волоски на загривке, который посылает холодок вдоль позвоночника, который шепчет: чужой. Этот инстинкт не мог отменить никакой Корпус, не мог монополизировать никакой Совет, не мог подавить никакой закон. Он жил глубже законов, глубже технологий, глубже самой цивилизации — в том первобытном, рептильном, доречевом слое мозга, где человек ещё не был человеком, но уже умел отличать своего от чужого, друга от врага, правду от притворства. И обитатели чистого района пользовались этим инстинктом — неосознанно, между делом, как пользуются обонянием, — вызывали патруль, и всё заканчивалось быстро. Иногда — тихо. Чаше — нет.

Незаметные — это те, кто не пытался казаться чужим. Кто не покупал поддельную одежду, не репетировал походку перед зеркалом, не натягивал на лицо маску, которая всё равно рано или поздно треснет, обнажив под собой то, что прячется, — страх. Незаметные поступали проще. Гениальнее. Они оставались собой. Они входили в чистый район не в роли его обитателей, а в роли его услуги — и это было идеальное укрытие, лучшее из всех возможных, потому что оно не требовало ни таланта, ни храбрости, ни фантазии. Оно требовало лишь одного: понимания того, как устроен мир. А мир был устроен просто. Техник, пришедший чинить проводку, — в синем комбинезоне, с сумкой инструментов, с выражением усталой, привычной, ни на что не претендующей скуки на лице. Курьер с доставкой — нагруженный коробками, торопливый, озабоченный, бормочущий себе под нос номер адреса, как молитву. Разнорабочий, ищущий нужный дом, — остановившийся на перекрёстке, щурящийся на указатели, чешущий затылок, поворачивающий голову направо и налево с тем бессмысленным, чуть растерянным видом, который свойственен людям, попавшим в незнакомое место и слыш-

ком гордым, чтобы спросить дорогу. В чистом городе таких было тысячи каждый день — тысячи серых теней, просачивавшихся через КПП по рабочим пропускам, растекавшихся по улицам, переулкам, дворам, подвалам, техническим этажам, обслуживая сверкающий, гудящий, самодовольный механизм, который без них остановился бы в считанные дни, если не часы. Чистый район нуждался в Серой зоне, как человеческое тело нуждается в бактериях — с той же брезгливой, нехотя признаваемой неизбежностью. На этих людей не смотрели. Их не замечали. Взгляд скользил по ним, как вода скользит по камню, — не задерживаясь, не цепляясь, не оставляя следа. Они были частью пейзажа, элементом декорации, фоном — как урны из полированного металла на каждом углу, как скамейки из адаптивного пластика, подстраивающие жёсткость под вес сидящего, как фонарные столбы, которые включались автоматически, повинаясь датчикам освещённости, и выключались автоматически, и существовали автоматически, и никому не приходило в голову задуматься об их существовании, — потому что зачем думать о вещах, которые просто есть?

Дэвин был незаметным. Он понял это давно — ещё до первой ходки, ещё до первой контрабандной партии, ещё до того, как слово «контрабанда» вошло в его ежедневный лексикон и обосновалось там с уютной, домашней фамиллярностью. Он понял это в тот день, когда впервые осознанно наблюдал за обитателями чистого района — из-за забора, из Серой зоны, через щель в бетонной плите — и увидел, как мимо рабочего в оранжевом жилете, чинившего что-то на тротуаре, прошли четырнадцать человек за две минуты, и ни один — ни один — не посмотрел на него. Четырнадцать пар глаз, и ни одна пара не задержалась на оранжевом жилете дольше, чем на трещине в асфальте. Рабочий был невидимкой. Рабочий был призраком при свете дня. И Дэвин подумал тогда: вот оно. Вот мой пропуск. Не поддельная одежда, не поддельная походка, не поддельное лицо — а подлинная, неподдельная, абсолютная незначительность. Быть настолько неинтересным, настолько неважным, настолько не стоящим внимания, что само внимание отказывается на тебе задерживаться, как отказывается задерживаться на пустой стене, на мотке проводов, на куске арматуры, торчащем из земли.

Так что он шёл. По бульвару, под клёнами, среди пятен света и тени, среди ярких одежд и прямых спин, среди запаха фальшивой сирени и звуков чужой, отлаженной, уверенной в себе жизни. Шёл, как ходят все незаметные, — не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений, не слишком медленно, чтобы не казаться праздным, с чуть опущенной головой, с чуть сутулыми плечами, с тем безошибочным, универсальным видом человека, занятого мелким поручением, человека, идущего из точки А в точку Б, человека, которого послали и который идёт, потому что его послали, и думает при этом о чём-то простом — о еде, об усталости, о том, что левый ботинок опять натирает.

Он свернул на Четвёртую Прозрачную — и название, как всегда, вызвало у него короткую судорогу раздражения, которую он привычно подавил, загнал обратно, утрамбовал в ту тёмную, переполненную комнату внутри себя, куда сваливал все неудобные чувства. Четвёртая Прозрачная. Улицу называли так из-за стеклянных стен домов — вернее, из-за того, что стены домов здесь были целиком, от фундамента до карниза, выполнены из поляризованного стекла, прозрачного изнутри и снаружи. Жители чистого района — по крайней мере, жители этой конкретной улицы — любили демонстрировать, что им нечего скрывать. Что их жизнь — открытая книга, написанная крупным шрифтом, предназначенная для чтения вслух. Что стены — это пережиток, атавизм, наследие тёмных времён, когда люди прятались друг от друга, потому что не доверяли друг другу, потому что не знали друг друга, потому что не были идентифицированы. Теперь — когда каждый знал, кто он, и каждый знал, кто его сосед, — прятаться стало незачем. Стены стали ненужными. Стены стали стыдными. И дома распахнулись, как раковины моллюсков, выставив напоказ мягкое, влажное, беззащитное нутро: гостиные с парящей мебелью, спальни с огромными кроватями, кухни, где готовили настоящую еду из настоящих продуктов, ванные комнаты, где — Дэвин видел не раз, проходя мимо, — люди стояли под душем

совершенно обнажённые, повернутые к улице, не испытывая ни малейшего смущения, потому что смущение, как и стены, было пережитком, атавизмом, наследием тёмных времён. Дэвин находил это извращением. Тихим, благопристойным, социально одобренным извращением — эксгибиционизмом, вывернутым наизнанку и перелицованным под добродетель. Не «смотрите на меня, потому что я хочу быть увиденным», а «смотрите на меня, потому что мне нечего скрывать», — и разница между первым и вторым, по мнению Дэвина, была примерно такой же, как разница между двумя сторонами одной монеты: теоретически — колоссальной, практически — никакой. Но он держал это мнение при себе. Крепко, надёжно, за семью печатями, в той самой тёмной комнате, где хранилось всё остальное, — потому что мнения, высказанные вслух, имели свойство превращаться в улики. А улики имели свойство превращаться в приговоры. А приговоры в этом сверкающем, прозрачном, открытом мире выносились быстро, исполнялись тихо и обжалованию не подлежали. Он прошёл два квартала по Четвёртой Прозрачной — мимо стеклянных стен, мимо чужих жизней, разложенных за витринами, как товар в магазине, мимо женщины, читавшей книгу в кресле у самого стекла (настоящую книгу, бумажную, с пожелтевшими страницами, — предмет роскоши, стоящий больше, чем Дэвин зарабатывал за полгода), мимо мужчины, делавшего гимнастику в гостиной (медленные, плавные движения, похожие на танец, — тело, не знающее ни голода, ни тяжёлого труда, ни хронической боли в пояснице, которая была визитной карточкой каждого обитателя Серой зоны старше тридцати), — и свернул в переулок.

Переулок был другим. Здесь мир менялся — не так резко, как на границе Серой зоны и чистого района, но ощутимо, как меняется температура воды, когда плывёшь из тёплого течения в холодное. Переулок был узким — два человека могли разминуться, но не без того, чтобы коснуться друг друга плечами. Тенистым — дома стояли близко, нависая друг над другом, как заговорщики, склонившиеся над картой, и солнце пробивалось сюда лишь на несколько минут в день, около полудня, узким, робким лучом, который ложился на мостовую наискось и тут же исчезал, словно устыдившись собственной смелости. И — самое главное — здесь стеклянные стены сменялись старым кирпичом. Настоящим, грубым, тёмно-красным кирпичом, потемневшим от времени и дождей, покрытым кое-где лишайником и мхом, с выкрошившимся раствором в швах, с трещинами, змеящимися от фундамента к карнизу, как русла пересохших рек на спутниковых снимках. Кирпич был непрозрачным. Кирпич скрывал. Кирпич хранил секреты. И самым своим существованием — в этом мире стекла и света, в этом мире добровольной, нарочитой, агрессивной прозрачности — кирпич говорил: даже в чистом городе есть уголки, куда не дотягивается стерильная, маникюрная, неутомимая рука прогресса. Уголки, где время течёт медленнее, где стены остаются стенами, а тени — тенями, и где человеку, пришедшему из Серой зоны с шестью контрабандными коммуникаторами в подкладке, можно — наконец-то, хотя бы на минуту, хотя бы на полминуты — перевести дыхание.

Дверь — неприметная, утопленная в кирпичной нише, словно дом стыдился собственного входа и пытался его спрятать. Деревянная — настоящее дерево, не композит, не имитация, а дуб, потемневший до цвета горького шоколада, с глубокими, как морщины старика, прожилками, с чуть облупившимся лаком в нижней части, там, где дождевая вода оставляла свой многолетний след. Без вывески, без номера, без единого опознавательного знака — только стёртая до блеска медная кнопка звонка, утопленная в дверной раме на уровне пояса, чуть ниже, чем обычно, так что нажимающий вынужден был слегка наклониться, — и Дэвин всегда подозревал, что это было сделано намеренно: наклоняясь, человек опускает голову, подставляя макушку вместо лица, и камера наблюдения — если она была, а она наверняка была — видит не лицо, а затылок, а затылки все одинаковые, все безликие, все безопасные. Мелочь. Деталь. Но из таких деталей, из таких мелочей, из таких едва заметных, но точно рассчитанных хитростей — как из кирпичей, если угодно, — складывалась целая архитектура выживания,

целое здание конспирации, в котором каждый камень стоял на своём месте и держал на себе вес всей конструкции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.